



Г. К.
ЧЕСТЕРТОН

НОВЫЙ
ДОН-КИХОТ

РОМАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1928

Г. К. ЧЕСТЕРТОН



НОВЫЙ ДОН-КИХОТ

РОМАН

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Л. Л. СЛОНИМСКОЙ

**Изд. Я. Вайскопфа
Иерусалим
1987**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1 9 2 8

G. K. CHESTERTON

THE RETURN
OF DON - QUIXOTE

*Обложка работы
М. КИРНАРСКОГО*

Я. Вайскопф
п/я 27138
Иерусалим
Израиль

Факсимильное издание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

Каждое новое произведение Честертонa — литературное событие не только в Англии. Ему 54 года, но у себя на родине он уже классик и стоит в одном ряду с его крупнейшими современниками — Киплингом, Шоу и Уэллсом.

Творчество Честертонa разносторонне. Он — выдающийся романист, поэт, драматург, критик и историк литературы. У нас он известен как беллетрист, и, пожалуй, в этой области наиболее велики его литературные достоинства. Он — крупный талант, оригинальный по замыслам и фабулам, большой мастер сюжета, умный и остроумный, и исключительно блестящий стилист. Пользующаяся наибольшим успехом у русского читателя и целиком относящаяся к малому жанру детективной литературы сюита «Патер Браун» — наименее значительна в его творчестве, но характерна для Честертонa тем, что и в этой области он сумел сказать новое слово и остаться верным своей оригинальности.

Гораздо содержательнее и значительнее романы Честертонa.

Характерной чертой их является склонность их автора к необычному, но не к сверхъесте-

ственному, а к необычным — в рамках и условиях современного общества — характерам и действиям его героев. Эта особенность вызвана, несомненно, потребностью у людей типа Честертона скрасить чем-либо острым тусклость современной, не одушевленной ничем великим и героическим, буржуазной жизни, потребностью сломать стандартизированные рамки буржуазного быта, культуры и морали и зло посмеяться над ними.

Среди манекенов современности Честертон ищет живых людей и находит их только среди чудаков и оригиналов, отщепенцев буржуазного общества. И таковы, в самом деле, все любимые автором герои, в том числе и действующие лица настоящего романа — Херн и Мэррель. Все они — эти идеалисты и мечтатели, — будучи органически связаны с буржуазным обществом, не принимают его, но и не могут с ним порвать. Они не доросли до положительных идеалов нашей эпохи и ограничиваются своими необычными для современного, а тем паче для английского, буржуа выходками, являющимися все же не голым эксцентризмом, а своего рода протестом и стремлением восстановить «попранную справедливость». Таков и сам автор, неизменно сопровождающий чудачества своих героев злобным смехом по адресу современной культуры.

Фабула последнего романа Честертона: «Новый Дон-Кихот» — тоже необычна. Это — воскрешение в современной Англии средневекового политического строя для борьбы с надвигающейся социальной революцией.

Какова же «идеология» этого романа и как отно-

сится автор к современному английскому строю, к «верхам и низам» общества и, наконец, к реставрируемому им средневековью?

Содержание «Нового Дон-Кихота» не оставляет и тени сомнения на этот счет.

Своим злым и беспощадным пером Честертон подвергает разрушительной критике все стороны английского экономического, общественного и политического порядка. То в форме иронически-спокойных замечаний автора, то в форме тонкой язвительности Мэрреля или эпически-размеренной речи Херна, он бичует насилие, жестокость, ханжество, продажность и бесчестность того правопорядка, который на протяжении веков так гордится своею законностью и культурою. Он не щадит и своего любимца Херна, осмеивая бесплодную и оторванную от жизни науку, и развенчивает родовитость английской плутократии, к которой он обращается со словами Херна: «Плуты и бродяги, где вы украли ваши шпоры»? Он осмеивает ту внешнюю культуру буржуазного общества, за которою кроется глубокое невежество и верхоглядство, и клеймит политических и общественных проходимцев типа Арчера, которых делает общественными деятелями их «способность горячиться одновременно с печатью». Устами Мэрреля (гл. XVI) и Херна (гл. XII и XVII) Честертон не оставляет камня на камне во всех устоях английской современности. И «Новый Дон-Кихот» является злой сатирой на современную Англию.

Отношение автора к «верхам и низам» яснее всего обнаруживается из того лаконичного и острого диалога, который дан в завязке романа:

— Вы знакомы с мистером Брэнтри?

— Вы знаете мое пристрастие к обществу дурного тона.

— Вплоть до социалистов? Это недалеко от воров.

— Дурное общество еще не воров. Воров можно встретить скорее в высшем обществе.¹

И, далее, говоря о насилиях над Хэндри, Мэррель замечает: «Может быть, нам, в конце концов, удастся и воров поймать»... «И вдруг ему показалось, что он произнес пророчество о судьбе своего дома, своих друзей и еще много другого».¹ (Стр. 141). Эти слова и мысли буржуазного героя романа ясно обнаруживают нам симпатии автора.

Рабочих масс и рабочего движения в романе нет. Они — за сценой. Показан только вождь рабочих — Брэнтри. И крайне характерно все отношение к нему автора. Это единственная фигура романа, наделенная положительными качествами: трезвостью и глубиной мысли, действительной интеллигентностью, уверенностью в себе и знанием своих целей. (Стр. 83.) Именно этими качествами он противопоставлен как облюбованным автором героям из противоположного лагеря — мечтателям и оригиналам Херну и Мэррелю, — так и одиозным для Честертона — реальным и здоровым — представителям высших классов. При всех столкновениях Брэнтри с этими последними, весь моральный перевес на стороне вождя рабочих. (Гл. IV и V.) И, наконец, одного только Брэнтри и его класса не касается

¹ Курсив наш. — М. С.

автор своей, не щадящей ничего святого для буржуазии, насмешкой.

Конечно, нельзя, исходя из разрешения темы романа и отношения автора к Херну, считать «Нового Дон-Кихота» апологией средневековья. Отношение автора к последнему — ироническое, а сочувствие — лишь кажущееся. Честертон издевается над средневековым маскарадом для спасения от революции и высмеивает характерную черту буржуазии: ее склонность к обрядности, пышности, титулам и геральдике, — всем этим атрибутам средневековья. Сочувствует же Честертон не последнему, а своим двум героям, отщепенцам буржуазии, являющимся апологетами рыцарства. Средневековье «понадобилось» автору лишь для вящего посрамления готтентотской морали современного капитализма. Судом Херна Честертон хотел показать, что применение средневековых норм в современном социальном конфликте приводит к торжеству труда над капиталом. О последнем можно спорить, но нас интересует не историчность, а тенденция автора.

Такие произведения чуждого нам Запада, как «Новый Дон-Кихот», интересны и ценны для русского читателя, помимо их больших литературных достоинств, еще и как свидетельства о том, что «в царстве датском не все благополучно», и что даже люди, насквозь пропитанные европейской культурой, отшатываются от нее с омерзением и ненавистью. Это «отвращение к старым дорогам» — грозный симптом неблагополучия в самой сердцевине того величественного

монумента, который столь гордо самоименуется Великобританией.¹

Честертон силен своим отрицанием и неприятием современности, но он лишен положительных идеалов. Подобно многим разочарованным современностью европейским писателям, он оторвался от своей органической базы, но не может воспринять новую идеологию. Отсюда и те, часто противоречивые, черты его творчества, дающие иногда основание относить его к реакционерам. Он — идеалист и метафизик, он рыцарь романтики и аристократ-мистик, но, всегда и во всем, он рационалист и циник, крайне ироничный ко всему и, прежде всего, к собственным взглядам. Крайний его индивидуализм приводит его и к отвращению к капиталистической современности, и к скептическому отношению к массам, как творцам истории, и к боязни их. Путь Честертона, это — путь анархиста разума, бунтаря-одиночки.

Честертон — сам герой своих произведений. Он такой же, лишенный будущего, но вызывающий симпатии, человек, как и его чудачки и оригиналы. Драма этих героев, это — драма самого автора, отдающего свои чувства Херну, а разум — Брэнтри. И этими своими чертами он понятен и приемлем для нашего читателя.

Мих. Сергеев.

¹ Герой одного из романов Честертона решает внезапно возвратиться со службы домой по новой дороге и потьму отправляется... кругом света.

ГЛАВА I.
ОТЩЕПЕНЕЦ.

Зала в Сивудском аббатстве залита солнцем. Стены ее представляют собой сплошной ряд окон, откуда открывается вид на сад, террасами спускающийся к парку. Светлое безоблачное утро. Пользуясь обилием света, Оливия Эшли и Мэррель, прозванный по какой-то всеми забытой причине Обезьяной, занимаются живописью. Она рисует миниатюру, а он мажет огромное полотно. Она тщательно расписывает нежные оттенки, подражая средневековой мозаике, к которой питает сильное пристрастие. А он, будучи сторонником современного стиля, обмакивает в ведра с красками свои огромные кисти, похожие на швабры, и малюет размашистыми широкими мазками. Натянутый перед ним на планках холст, повидимому, предназначен для декорации какого-то любительского спектакля. Ни он, ни она не художники, но она все-таки старается, а он нет.

— Вы можете говорить что угодно о всяких нюансах, — сказал, наконец, Мэррель, как бы оправдываясь перед критически-настроенной Оливией, — но ваша манера суживает кругозор. В конце концов декоратив-

ная живопись не для того, чтобы ее рассматривать в микроскоп.

— Я ненавижу микроскопы, — коротко отрезала мисс Эшли.

— Однако, вам не обойтись без них, — ответил ее товарищ. — Уверяю вас, для такой мелкой работы многие вставляют в глаз лупу. Надеюсь, что вы не дойдете до этого. Это вам не к лицу.

Последнее было верно. Мисс Эшли была хрупкая девушка маленького роста, с тонким лицом. В изысканном изяществе ее зеленого платья было что-то общее со строгим стилем ее миниатюры. Она была очень молода, хотя в манерах ее было что-то, напоминавшее старую деву. Повсюду кругом были разбросаны бумаги, тряпки и пылающие яркими красками неудачные образцы творчества мистера Мэрреля. Но ее плоский ящик с красками, чехол и мелкие принадлежности—все было разложено возле нее в полном порядке. Очевидно, не для нее предназначались прилагаемые иногда к ящикам красок листки с наставлениями в роде того, чтобы не класть кисть в рот.

— Я только нахожу, — сказала она, продолжая тему о микроскопах, — что вся ваша наука и весь этот современный стиль только искажают людей и природу. Опускать глаза в микроскоп для меня все равно, что смотреть в канаву, где копошится всякая гадость. Я терпеть не могу смотреть вниз. Оттого я люблю старинную готику. Там все линии стремятся ввысь и указывают на небо.

— Зачем указывать? — возразил Мэррель. — Небо и без того видно.

— Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать, — ответила леди, стараясь над своим рисунком. — Вся душа людей средневековья отпечатлелась в архитектуре их церквей, в этих заостренных сводах.

— Как и в заостренных рыцарских копьях, — подтвердил Мэррель. — Если вы поступали не так, как им нравилось, то вас протыкали копьем. На мой взгляд, эти копы были слишком остры — острее всяких колких намеков.

— Как бы то ни было, но тогда сами кололи друг друга, — отвечала Оливия. — Это лучше, чем, сидя в плюшевых креслах, любоваться, как ирландец тузит чернокожего. Ни за что на свете я бы не пошла смотреть на бокс. Но с радостью согласилась бы быть дамой на старинном турнире.

— Если бы вы были дамой, то мне, к сожалению, не пришлось бы быть вашим рыцарем, — мрачно сказал декоратор. — Не судьба. Будь я даже королем — меня все равно утопили бы в бочке, и я навсегда перестал бы улыбаться. Мне было бы скорей суждено родиться крепостным, прокаженным или другим средневековым типом такого рода. Как только я сунулся бы в тринадцатое столетие, меня тотчас приставили бы главным прокаженным при каком-нибудь короле, и я принужден был бы лазить в церковь вот через такое окошечко, как у вас на рисунке.

— Да, теперь вы не то, что через окошечко, но и в двери не ходите, — заметила леди.

— Что ж, я предоставляю это вам, — сказал он и окунул свою кисть в ведро с краской.

Ему поручено было нарисовать декорацию для трон-

ного зала Ричарда Львиное Сердце. Он делал ее в багровых, малиновых и пурпурных красках, против чего тщетно восставала мисс Эшли. Она имела основание протестовать, так как сама выбрала средневековый сюжет и сама сочинила пьесу. Героєм пьесы был трубадур Блондель, воспевавший в своих серенадах короля Ричарда и свою покровительницу, дочь владельца замка.

Уважаемый Дуглас Мэррель, по прозванию Обезьяна, шутливо относился к своим неудачам на поприще декоративного искусства в виду того, что и на других поприщах подвизался со столь же малым успехом. Как человек широкой культуры, он не имел никакой определенной специальности. Политическая карьера его потерпела полное фиаско. Выдвинутый однажды лидером какой-то неведомой партии, он в решительный момент не сумел уловить логической связи между законом об обложении налогом лесных заповедников и законопроектом о вооружении индийской армии карабинами старого образца, вследствие чего племянник одного спекулянта, яснее представлявший себе, в чем дело, проскочил на его место. С того времени Мэррель стал проявлять вкус к обществу людей дурного тона. В его одежде и манерах стали обнаруживаться признаки демократизма. У него были светлые волосы, преждевременно начавшие седеть. Он был еще молод, хотя и старше своей собеседницы.

Его простое, но оригинальное лицо всегда имело напряженное выражение, что, в сочетании с легкомысленным цветом его галстуков и жилетов, столь же

ярких, как его краски, производило почти комическое впечатление.

— У меня негритянский вкус, — объяснял он, делая гигантский мазок сангвиной. — Мистическая серость готики наводит на меня тоску. Говорят о кельтском Ренессансе, но я стою за эфиопский. В банджо больше правды, чем в старой далматской лютне. Нет танцев, кроме душераздирающего брек-доуна, — в самом названии его я слышу слезы. Нет других героев в истории, кроме Букера Вашингтона. И нет лучшего поэтического создания, чем дядя Том. Бьюсь об заклад: немного понадобится усилий, чтобы заставить франтов чернить себе физиономии, как прежде они пудрили себе волосы. Право, я начинаю находить смысл в моей неудачной жизни. Я думаю, что мое назначение быть негром. В первобытной простоте есть какая-то прелесть. Как вы полагаете?

Она не ответила. Казалось, она пропустила мимо ушей всю его тираду. Она как будто была сердита. И, когда она сердилась, она становилась еще моложе на вид. Тонкий профиль и полураскрытые губы напоминали обиженного ребенка.

— Я помню негра на старинном рисунке, — проговорила, наконец, мисс Эшли. — Это был один из вифлеемских королей в золотой короне. Он сам был черен, но его пурпурная одежда горела, как пламя. Видите, и для негра нужно искусство. Теперь больше нет такой пурпурной краски. Секрет этой краски утерян так же, как и секрет цветного стекла.

— Да, этот пурпур очень пригодился бы для современных целей, — равнодушно отозвался Мэррель.

Она рассеянно взглянула на полукруг леса под утренним небом.

— Я не знаю, в чем заключаются современные цели, — сказала она.

— Скорей всего в том, чтобы нарисовать красный город, — ответил он.

— Старинная золотая краска тоже исчезла, — продолжала она. — Вчера в библиотеке я видела старый требник. Знаете ли, что тогда писали золотом имя бога? Если бы теперь стали писать золотом какое-нибудь слово, то, наверное, только слово: золото.

Молчание, которое последовало за этими словами, было прервано громким и повелительным голосом, раздавшимся в коридоре: «Обезьяна!»

Мэррель, вообще говоря, не обижался, когда его называли обезьяной, но его немного коробило, когда его называл так Юлиан Арчер. Арчер преуспевал во всем, — в той же степени, в какой Мэррель повсюду терпел неудачу. Но дело было совсем не в зависти. Между простой фамильярностью и дружеской бесцеремонностью есть тонкая грань, которую отлично чувствуют люди, подобные Мэррелю, при всем их вкусе к негритянской черноте. В бытность свою в Оксфорде Мэррель иногда выбрасывал людей в окошко, но только в том случае, если это были его близкие друзья.

Юлиан Арчер принадлежал к числу ловкачей, которые всюду поспевают и везде оказываются почему-то необходимыми. Почему это так выходило, неизвестно. Он не был глуп и оправдывал доверие, когда ему чуть не насильно навязывали какое-нибудь ответственное поручение. Но самый проникательный наблюдатель не

мог бы объяснить, почему обращались именно к нему, а не к его соседу. Устраивалась ли каким-нибудь журналом анкета на тему: «Можно ли есть мясо?» — по этому поводу помещались мнения Бернарда Шоу, доктора Салиби, лорда Даузона и мистера Юлиана Арчера. Формировался ли комитет по национальному театру или изучению Шекспира, речи с эстрады произносили: мисс Виола Три, сэр Артур Пинеро, мистер Коминс Кэрр и мистер Юлиан Арчер. Печаталась ли книга этюдов под названием «Вера в будущую жизнь», сотрудниками являлись: сэр Оливэр Лодж, мисс Мэри Корелли, мистер Джозеф Мак Кэйб и мистер Юлиан Арчер. Он был членом парламента и всяких других обществ. Он был автором одной исторической повести и считался прекрасным актером. Его кандидатура на главную роль в пьесе Блондель «Трубадур» была принята без всяких обсуждений. Он был чужд всякой эксцентричности. Его историческая повесть об Азенкуре казалась повестью о приключениях современного юнца на каком-нибудь костюмированном балу. Он склонен был снисходительно допускать употребление мясной пищи. Так же снисходительно он признавал и личное бессмертие. Но его умеренные мнения выражались громко и положительно тем густым звучным баритоном, который прогудел сейчас по коридору. Он умел спокойно выдержать молчание, наступающее после сказанной вслух глупости. Ему предшествовал повсюду его зычный голос, так же как его выступлениям в печати предшествовали его репутация и портрет, изображавший смелое, красивое лицо и вьющиеся волосы над открытым, высоким лбом. Мисс Эшли выразилась однажды, что он похож на мод-

ного тенора. Мистер Мэррель в ответ удовольствовался замечанием, что звук его голоса несколько не напоминает тенора.

Мистер Арчер вошел в комнату в полном облачении трубадура. Иллюзию нарушала только телеграмма, которую он держал в руках. Он репетировал свою роль и покраснелся от воодушевления, хотя телеграмма, по видимому, несколько сбивала его.

— Вот что, — сказал он, — Брэнтри отказывается играть.

— Да? — сказал Мэррель, невозмутимо продолжая рисовать. — Я так и думал, что он не согласится.

— Конечно, глупо было обращаться к подобному человеку, но другого никого не было. Я говорил лорду Сивуду, что неблагоприятно затевать спектакль в такой сезон, когда все его друзья в отсутствии. Брэнтри — случайный знакомый. Я даже не понимаю, каким образом он мог познакомиться с лордом.

— Я думаю, что тут маленькое недоразумение, — сказал Мэррель. — Сивуд пригласил его, потому что слышал, что Брэнтри унитарист. Потом, когда оказалось, что он трэд-унитарист, то Сивуд был несколько озадачен, но заводить историю было уже поздно. Впрочем, едва ли он сумел бы объяснить различие этих двух терминов.

— А вы знаете, что значит унитарист? — спросила Оливия.

— Этого никто не знает, — ответил декоратор, — и я тоже не знаю.

— Нельзя исключить человека из общества только за то, что он социалист, — воскликнул свобододо-

мыслящий мистер Арчер. — Ведь были же... — И он замолк, погрузившись в политические соображения.

— Он не социалист, — равнодушно заметил Мэррель. — Он начинает бить посуду, когда ему говорят, что он социалист. Он синдикалист.

— А это еще хуже? — невинно спросила молодая леди.

— Конечно, все мы интересуемся социальными вопросами и стоим за усовершенствование социального строя, — со своей обычной манерой сказал Арчер. — Но я не могу защищать человека, когда он восстанавливает один класс против другого и проповедует всеобщую трудовую повинность и тому подобные утопии. Я всегда утверждал, что капитал налагает обязанности, но вместе с тем...

— Ну, — поспешно прервал Мэррель, — на этот счет у меня свое мнение. Посмотрите на меня. Я работаю руками.

— Во всяком случае он играть не будет, — продолжал Арчер, — и надо подыскать ему заместителя. Все дело в маленькой роли второго трубадура. С ней может справиться всякий, лишь бы он был молод. Оттого-то я и подумал о Брэнтри.

— Да, он еще совсем молод, — подтвердил Мэррель, — и окружен ватагой молодежи.

— Я ненавижу его с его молодежью, — сказала Оливия с неожиданной энергией. — В старину жаловались, что молодежь романтична и потому нарушает порядок. Но эта молодежь нарушает порядок своими идеями. Все это грубые прозаики, думающие только о деньгах, материалисты. Они хотят весь мир совра-

тить в атеизм и скоро сделают его царством обезьян.

Наступило молчание. Мэррель прошел в другой конец длинной залы. Слышно было, как он вызвал по телефону какой-то номер.

Затем последовал один из тех разговоров, которые производят на постороннего слушателя такое впечатление, точно перед ним сумасшедший. Но в данном случае смысл разговора был довольно понятен.

— Это вы, Джек?.. Да, я знаю. Но я с вами хочу об этом поговорить... Да, да, в Сивуде. Но я не могу приехать, потому что весь вымазан в красный цвет, как индеец... Глупости, это ничего не значит... Вы можете прийти после работы... Да, это совершенно ясно... Однако, ведь вы животное рассуждающее... Говорю вам, здесь принципы ни при чем. Я вас не съем и даже не выкрашу... Хорошо.

Он повесил трубку и, посвистывая, вернулся к своему творению.

— Вы знакомы с мистером Брэнтри? — спросила Оливия с некоторым удивлением.

— Вы знаете мое пристрастие к обществу дурного тона, — ответил Мэррель.

— Вплоть до социалистов? — язвительно спросил Арчер. — Это недалеко от воров.

— Дурное общество — это еще не воры, — сказал Мэррель. — Воров можно встретить скорее в высшем обществе.

И он принялся мазать кулису яркой фиолетовой краской с оранжевыми звездами, в точном соответствии с общеизвестным стилем тронного зала Ричарда I.

ГЛАВА II.
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Джон Брэнтри был длинный, худой, подвижной молодой человек с черной бородкой. Он ходил, мрачно нахмурившись, но казалось, что он и хмурится и носит свой красный галстук только из принципа. Ибо, когда он улыбался (улыбка на мгновение показалась у него на лице, когда он посмотрел на декорацию Мэрреля), лицо его делалось довольно добродушным. Когда его представили барышне, он отвесил вежливый, но деревянный поклон, как бы только для того, чтобы выполнить обязательную форму. Эта повадка, когда-то принятая аристократами, теперь стала совершенно заурядным явлением среди мелкой буржуазии. Брэнтри начал свою карьеру инженером.

— Я пришел сюда по вашей просьбе, Дуглас, — сказал он. — Но я предупреждаю, что едва ли что выйдет.

— Как вам нравятся эти краски? — спросил Мэррель. — Их очень хвалят.

— Признаться, я не могу одобрить этот романтический красный цвет, — отозвался тот. — Вы окружаете ореолом феодальную тиранию и старые суеверия.

Но это не мое дело. Я надеюсь, что мне позволено будет говорить обо всем откровенно. Но я не желал бы быть нелюбезным по отношению к хозяину дома. Для того чтобы покончить со всем этим, должен предупредить, что Союз углекопов объявил забастовку и что я секретарь Союза. И, так как я и без того причинил лорду достаточно неприятностей, то с моей стороны было бы слишком дурно расстраивать вдобавок его спектакль своим участием.

— Из-за чего вы бастуете? — поинтересовался Арчер.

— Нам нужны деньги, — холодно ответил Брэнтри. — Если за хлеб в один пенни берут два пенни, то мы желаем иметь эти два пенни! Такова нынешняя сложная промышленная система. Но что еще важнее для Союза — это признание.

— Признание чего?

— Видите ли, трэд-унионы юридически не существуют. Это вопиющий произвол, который грозит всей британской торговле и промышленности. Лорд Сивуд и все наши враги убеждены, что Союза нет. И вот, чтобы напоминать иногда об его существовании, мы и сохраняем за собой право бастовать.

— И оставлять несчастную публику без угля? — с жаром воскликнул Арчер. — Если так, то вам придется убедиться в том, что общественное мнение сильнее вас. Хорошо, вы откажетесь добывать уголь, и государство не сможет принудить вас к подчинению. Мы тогда найдем людей, которые будут его добывать. Я лично ручаюсь, что найдутся сотни таких из Оксфорда, Кэмбриджа и Сити, которые, не заду-

мываясь, пойдут работать в шахты, чтобы сломить вашу стачку.

— Вы полагаете? — презрительно ответил Брэнтри. — С таким же успехом вы могли бы призвать сюда сотню углекопов, чтобы закончить рисунок мисс Эшли. Работа в рудниках совсем не легкая штука, любезный сэр. Углекоп не то, что грузчик. А вы могли бы сойти разве только за грузчика.

— Я полагаю, что это оскорбление, — сказал Арчер.

— О нет, — ответил Брэнтри, — это комплимент. Мэррель примирительно вмешался в разговор.

— И вот, все вы приходите к моей идее! Сначала грузчик, потом, кажется, трубочист и в конце концов негр.

— Но ведь вы не синдикалист? — спросила Оливия чрезвычайно сурово. Потом, после паузы, добавила: — А что собственно такое синдикалист?

— В коротких словах, — серьезно ответил Брэнтри, — это значит, что шахта должна принадлежать углекопу.

— Шахта есть шахта, как говорит прекрасная феодальная поговорка средневековья, — сказал Мэррель.

— Мне кажется, что эта поговорка вполне современна, — заметила Оливия ледяным тоном. — Но как же вы справитесь с углекопом, если шахта будет его?

— Нелепо, не правда ли? — сказал синдикалист. — Это так же смешно, как если сказать, что ящик с красками есть собственность живописца.

Оливия подошла к открытому французскому окну

и, нахмурившись, стала смотреть в сад. Ее сердитый вид относился отчасти к синдикалисту, отчасти к ее собственным мыслям. После нескольких минут молчания она вышла на посыпанную гравием дорожку и медленно удалилась.

В ее поступке выражалось неудовольствие, но Брэнтри был слишком разгорячен, чтобы обратить на это внимание.

— Почему никто не станет сомневаться в праве скрипача владеть своей скрипкой? — продолжал он. — Ведь никто не назовет это утопией!

— Все это чепуха: и вы и ваши скрипки! — рассердился вдруг мистер Арчер. — Как может компания мерзавцев...

Мэррель опять перевел разговор на безобидные темы.

— Ладно, ладно, — сказал он. — Эти социальные вопросы не могут быть разрешены, пока не прибегнут к моему способу. Вся знатная и культурная Франция собралась, чтобы посмотреть, как Людовик XVI наденет красный колпак. Как было бы эффектно, если бы все наши артисты и общественные деятели собрались полюбоваться, с каким почтением я буду мазать ваксой физиономию лорда Сивуда.

Брэнтри попрежнему мрачно смотрел на Юлиана Арчера.

— Пока еще, — сказал он, — наши артисты и общественные деятели смазывают ваксой только свои сапоги.

Арчер вскочил, как будто это касалось именно его.

— Когда джентльмену бросают обвинение, что он

смазывает чем-то свои сапоги, то является опасность, как бы он не смазал кого-нибудь по физиономии.

Брэнтри вынул из кармана свой костлявый кулак.

— Повторяю, — проговорил он, — что мы сохраняем право бастовать.

— Не разыгрывайте козлов, — еще раз вмешался миротворец, выставив между ними большую красную кисть. — Не буянь, Джек. А то прорвешь мне красный занавес Ричарда Львиное Сердце.

Арчер медленно отошел на свое место, а его противник после минутного колебания повернулся, намереваясь перешагнуть через окно.

— Не беспокойтесь, — проворчал он, — я не сделаю бреши в ваших холстах. С меня довольно, что я пробил брешь в вашем классе. Что вам от меня нужно? Я знаю, что вы настоящий джентльмен, и люблю вас за это. Но какое нам дело до того, настоящий вы джентльмен или нет? Когда человека, подобного мне, зовут в такие дома, как этот, то он идет туда, чтобы сказать слово в защиту своих собратьев. Вы и ваши дамы любезничаєте с ним, но в конце концов наступает момент, когда он. . . ну, одним словом, оказывается в положении человека, который имеет важное поручение от друга и не смеет его выполнить.

— Но подумайте! — увещевал Мэррель. — Вы не только пробили брешь в классе, но и меня посадили в калошу. Мне теперь решительно некого звать. Мы приступим к репетициям, вероятно, только через месяц. Почему вам не согласиться хотя бы в виде одолжения? Причем тут ваши убеждения? У меня, например, нет никаких убеждений. Я их износил, когда был

еще мальчиком. Но я терпеть не могу обмануть дам. А здесь положительно нет никого другого.

Брэнтри пристально посмотрел на него.

— Нет никого другого? — переспросил он.

— Да, не считая, конечно, старого Сивуда, — ответил Мэррель. — Он в своем роде не так уже плох. Не думайте, что я отношусь к нему так же сурово, как вы. Но все же он вряд ли пригоден для роли трубадура. А других мужчин, правда, нет.

Брэнтри попрежнему смотрел на него.

— В соседней комнате есть человек, — сказал он, — есть человек в коридоре, есть человек в саду, есть человек у подъезда, есть человек в конюшне, есть человек на кухне, есть человек в погребе. Что за дворец из лжи вы построили себе, если вы каждый день видите вокруг себя этих людей и даже не замечаете, что они люди! Из-за чего мы бастуем? Потому что вы забываете о самом существовании нашем, пока мы не бастуем. Пусть вам угождают ваши слуги, но зачем же принуждать и меня?

Он вышел в сад и в бешенстве зашагал по аллее.

— Да, — сказал, наконец, Арчер, — признаюсь, я не мог бы вынести вашего друга!

Мэррель отошел от своего холста и, наклонив голову на бок, стал разглядывать его с видом знатока.

— Превосходная идея, — заметил он равнодушно. — Можете себе представить старого Перкинса в роли трубадура? Вы знаете здешнего дворецкого. Или лакеев? Они были бы прекрасными трубадурами!

— Не говорите глупостей, — сказал раздраженно

Арчер. — Они должны проделывать самые разнообразные вещи. Ну, хотя бы целовать руку принцессы.

— Дворецкий сделал бы это как зефир, — ответил Мэррель. — Но мы можем спуститься по иерархической лестнице еще ниже. Если дворецкий не согласится, поищем лакея, если тот не согласится, попросим грума, если и этот не согласится, пригласим конюха, если тот заартачится, позовем точильщика, а если и он будет упираться, достанем кого-нибудь еще хуже. А если ничего не удастся, то я спущусь на самое дно и вытаску оттуда библиотекаря. Это идея! Библиотекаря!

И с внезапной стремительностью он швырнул свою тяжелую кисть в другой конец залы и побежал в сад в сопровождении удивленного мистера Арчера.

Было еще совсем рано, ибо любители встали задолго до завтрака, чтобы подучить роли и порисовать. А Брэнтри всегда вставал рано, чтобы успеть написать и отослать свирепую (чтобы не сказать бешеную) передовую статью для «Вечерней Рабочей Газеты». Бледный свет в разных углах и закоулках все еще имел тот розоватый оттенок, который, должно быть, и заставил фантазию Гомера снабдить рассвет розовыми перстами.

Дом стоял на горе, вокруг которой извивался Северн. По склону горы террасами спускался сад с деревьями в цвету и с клумбами, расположенными в виде гербов. На горизонте поднимались облака, похожие на клубы пушечного дыма. Солнце как будто беззвучно бомбардировало земные возвышения. Ветер и солнце накладывали веселый глянец на склонившуюся траву, и казалось, что Мэррель и Арчер стоят на сверкающем плече мира. На выступе горы виднелись серые разва-

лины старого аббатства. Туда именно направлял свой путь Мэррель.

Арчер, по-театральному красивый и нарядный, был очень эффектен на фоне простой природы. Картина стала еще эффектнее, когда появилась другая фигура, в столь же необычном одеянии. Это была молодая девушка с королевской короной на рыжих волосах, шедшая с поднятой по-королевски головой. Юлиан Арчер в своем разноцветном костюме представлял собой великолепное зрелище, и рядом с ним Мэррель в своей пиджачной паре и с галстуком имел столь же скромный вид, как те конюхи, с которыми он любил якшаться.

Розамунда Северн, единственная дочь лорда Сивуда, принадлежала к числу женщин, которые умеют повелевать и барахтаются в море вещей. Ее красота была через край так же, как ее доброта и веселость. Она была в восторге от того, что она средневековая принцесса — хотя бы по пьесе. В ней не было сознательной реакционности, как у ее подруги, мисс Эшли. Напротив, она была весьма современна и практична. Она хотела сделаться женщиной-врачом, и только консервативные понятия отца помешали ее намерению. Кончилось тем, что она превратилась просто-напросто в даму-благотворительницу и притом с норовом. Когда-то она занималась женским вопросом, но отстаивала ли она права женщин или, наоборот, отрицала их — этого никто из друзей не мог точно припомнить.

Увидев издали Арчера, она крикнула ему своим звонким повелительным голосом:

— Я вас искала. Как вы думаете, не повторить ли нам нашу сцену?

— А я искал вас! — прервал Мэррель. — В нашем драматическом мире завязывается новая драма. Не знаете ли вы случайно в лицо вашего библиотекаря?

— При чем тут библиотекарь? — спросила Розамунда деловым тоном. — Конечно, я его знаю, но не думаю, чтобы кто-нибудь знал его хорошо.

— Он, должно быть, из породы книжных червей? — заметил Арчер.

— Все мы черви, — весело возразил Мэррель. — А книжный червь отличается только особой утонченностью своей диеты. Но представьте себе, я хотел бы поймать этого червя, как ранняя птичка. Розамунда, будьте вы на этот раз птичкой и подцепите его для меня.

— Правда, я сегодня чувствую себя ранней птичкой, — ответила она. — Я совсем как жаворонок.

— И наверно готовы пощebetать, — сказал Мэррель. — Нет, говоря серьезно, мне известно ваше презрение к миру забот. Но знаете ли вы, где библиотека, и не можете ли вы раздобыть нам настоящего, живого библиотекаря?

— Я думаю, что он сейчас там, — сказала немного удивленно Розамунда. — Вы можете пойти к нему и поговорить, хотя, право, не понимаю, зачем он вам.

— Вы всегда попадаете в точку, — сказал Мэррель. — Вы верны небесам и родному гнезду. Настоящая птичка!

— Райская птичка, — любезно сказал мистер Арчер.

— Боюсь, что вы птица-пересмешник, — ответила она с хохотом. — А что касается Обезьяны, то он, известно, гусь.

— Я и червяк, и гусь, и обезьяна, — согласился Мэррель. — Мои перевоплощения совершаются непрерывно. Но раньше, чем превратиться еще во что-нибудь, разрешите мне объясниться. Арчер, со своим дьявольским аристократизмом, не позволяет точильщику играть трубадура, и я волей-неволей должен обратиться к библиотекарю. Я не знаю его имени, но нам необходимо кого-нибудь найти.

— Его имя Херн, — ответила молодая леди с некоторым сомнением. — Он очень ученый человек и вполне джентльмен. Только вы напрасно пойдете к нему.

Но Мэррель уже бросился прочь со свойственной ему стремительностью и исчез за углом, где находилась стеклянная дверь в библиотеку. Завернув за угол, он внезапно остановился и стал куда-то смотреть. На краю сада, выделяясь на фоне утреннего неба, стояли две фигуры. Это были мрачные профили Джона Брэнтри и мисс Оливии Эшли. Никогда Мэррель не мог бы представить себе их вместе. Правда, в тот момент, как он заметил их, Оливия как раз отвернулась с жестом не то гнева, не то презрения. Но Мэрреля гораздо более удивляло то, что они вообще встретились, чем то, что они расходятся. На его обезьяньем лице на минуту показалось смущение. Но он тотчас оправился и весело пошел в библиотеку.

ГЛАВА III.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЛЕСТНИЦА.

Библиотекарь Сивуда однажды достиг печатной известности, может быть, неведомо для себя самого. Это было во время великого «верблюжьего спора» в 1906 году, когда профессор Отто Эльк, знаменитый гебраист, смело восстал против книги Второзакония и использовал в этой борьбе близкое знакомство безвестного библиотекаря с палео-хеттитами. Пусть просвещенный читатель не думает, что это обыкновенные хеттиты: это еще более древняя раса того же наименования. У этого библиотекаря в самом деле был огромный запас сведений о хеттитах, но только (как он добросовестно разъяснял) за период от объединения царства при Пан-Эль-Заге (ошибочно называемом Пан-Уль-Загом) до бедственной битвы при Ули-Замури, после которой, собственно говоря, прекращается дальнейшее существование палео-хеттитской цивилизации. В пределах этого периода, действительно, никто не мог с ним соперничать в познаниях. Он никогда ничего не печатал об этих хеттитах, но если бы он это сделал, то это была бы целая библиотека, в которой, однако, мог бы разобраться только он один.

У этих хеттитов, кажется, существовали особые иероглифы, которые чем-то отличались от всех других иероглифов, но для непросвещенного взора представлялись просто царапинами на поверхности полуразрушенного камня. Где-то в Библии указывается, что кто-то у кого-то угнал сорок семь верблюдов. Но профессору Эльку удалось сделать замечательное открытие, что в хеттитском рассказе о том же событии, благодаря исследованиям ученого Херна, обнаружен ясный намек на то, что верблюдов было только сорок. Это открытие в корне подрывало основы христианской космологии и, казалось, бросало неожиданный свет на проблему брачных установлений. Имя библиотекаря в течение известного срока упоминалось в журналах, причем имена Галилея, Бруно и Дарвина, вызывавшие негодование верующих, заменялись другой триадой: Галилей, Бруно и Херн. Для негодования в данном случае были некоторые основания, потому что библиотекарь из Сивуда продолжал как ни в чем не бывало долбить свои иероглифы, не обращая никакого внимания на окружающих.

Библиотекарь был из числа боящихся дневного света существ, и ему вполне подобало быть тенью среди теней большой библиотеки. У него была длинная, согбенная фигура, и одно плечо было немного выше другого. Волосы у него были пыльного цвета. Лицо было худое с длинными, прямыми чертами. Его бледно-голубые глаза были расставлены чуть-чуть шире, чем у обыкновенных людей, вследствие чего казалось, будто у него один только глаз, а другой находится где-то в чужой голове. И, действительно, в известном смысле

так оно и было. Его другой глаз находился в голове хеттита, жившего десять тысяч лет тому назад.

В Микеле Херне было нечто такое, что, может быть, скрывается под грудой материала у каждого специалиста. Это «нечто» помогает выносить тяжесть учености и выбивается наружу в виде поэзии. Из предмета своего изучения он инстинктивно создавал поэтические картины. Даже специалисты, засевающие в самых затаенных уголках истории, сочли бы его пыльным антикваром, роющимся в доисторических горшках и мисках и копающимся над неизменным каменным топором, который многие охотно закопали бы обратно. Но это было бы несправедливостью. Весь этот хлам был для него не идолом, а инструментом. Когда он смотрел на хеттитский топор, то в его фантазии возникала картина, как он убивает добычу для хеттитского горшка. Когда он смотрел на горшок, он уже видел, как в нем варится нечто убитое хеттитским топором. Конечно, он не сказал бы «нечто» для обозначения содержимого горшка. Он сразу определил бы с достаточной точностью название того, что варилось. Он прекрасно мог бы составить хеттитское меню. Из клочков и обрывков он воздвигал архаический город и воображаемое государство, затмевавшее Ассирию своей неуклюжей грандиозностью. Его душа была далеко. Она блуждала под странным золотисто-бирюзовым небом, среди людей в головных уборах, высоких, как могильные курганы, среди могильных курганов, высоких, как крепости, и среди бород, заплетенных, как узоры на обоях. Когда он смотрел из открытого окна библиотеки на садовника, подметавшего нарядные дорожки Сивуд-

ского парка, ему мерещились, вместо него, чудища, вырубленные из скал, и огромные бородатые лица. Эти хеттиты произвели некоторое повреждение в его мозгу. Говорили, что когда один неосторожный профессор повторил как-то глупую клевету о безнравственном поведении хеттитской принцессы Паль-Уль-Газили, то библиотекарь исколотил его за это метелкой для смахивания с книг пыли и загнал на самый верх библиотечной лестницы. Однако, произошел ли этот факт в действительности или в фантазии мистера Дугласа Мэрреля, на этот счет мнения расходились.

Этот анекдот, хотя бы и выдуманный, во всяком случае был яркой иллюстрацией не всем еще известной истины, что настоящий полемический азарт скрывается не в таких газетах, как «Телеграф», а в научных сочинениях, вроде «Обозрения ассирийских раскопок». Мистер Херн терял самообладание при мысли о нелепой выдумке профессора Пуле, будто существовала какая-то до-хеттитская сандалия. Он старался переубедить профессора, если не метелкой, то пером, заостренным как пика. На разрешение этих вопросов он тратил всю свою энергию, логику, подлинное красноречие и небывалый энтузиазм. Он открывал новые факты, высмеивал ошибочные предположения, с убийственной ясностью обнаруживая противоречия, и за все это не получал ни малейшей общественной благодарности. Но он обладал тем, что совершенно недоступно никому из общественных деятелей: он был счастлив.

Херн был сыном бедного священника. Будучи в Оксфорде, он умудрился сохранить свою нелюдимость — не из отвращения к обществу, а из любви

к одиночеству. Он хорошо был знаком с книгами и, не имея никакого обеспечения, с радостью принял предложение заведывать прекрасной старой библиотекой, собранной прежними владельцами Сивудского аббатства. Единственный раз в жизни он позволил себе отдых: это было, когда он отправился в качестве младшего помощника на раскопки хеттитских городов в Аравии. Этот отдых превратился для него в тяжелую работу. Однако потом он наслаждался воспоминаниями об этом времени.

Херн стоял в библиотеке у открытого французского окна, выходящего на лужайку, и, засунув руки в карманы брюк, рассеянно смотрел вперед, когда зеленая гармония сада вдруг была нарушена тремя фигурами, из которых две представлялись весьма странными, если не сказать страшными. Их можно было принять за наряженных духов, вышедших из прошлого. Костюм их был далеко не хеттитский, что было ясно всякому — даже неспециалисту. Но он был почти такой же нелепый. Только третья фигура, в светлом жакете и брюках, имела вид успокоительной современности.

— А, мистер Херн, — с развязной любезностью обратилась к нему молодая леди в рогатом головном уборе и в голубом платье с длинными остроконечными рукавами. — Мы в ужасном затруднении и пришли попросить вас об одном большом одолжении.

Глаза мистера Херна меняли свой фокус. Он точно вставил в них новые линзы и перевел взгляд с далекого расстояния на передний план, где находилась великолепная молодая леди. Ее вид поразил его, так что он на

мгновение онемел, а потом сказал с неожиданной для него мягкостью:

— О, если только это в моих силах. . .

— Речь идет всего-на-всего о малюсенькой роли в нашей пьесе, — сказала она. — Стыдно предлагать вам такую маленькую роль, но все отказываются, а нам жалко бросать пьесу.

— Что это за пьеса? — спросил он.

— Ах, сущие пустяки, — сказала она непринужденно. — Пьеса называется «Трубадур Блондель». Она о Ричарде Львиное Сердце, с серенадами, принцессами, замками и всякими такими штуками. Нам нужен второй трубадур, который сопровождает Блонделя и разговаривает с ним. Или, вернее, Блондель разговаривает с ним, так как он только слушает. Подготовка к роли не отнимет у вас много времени.

— Вам надо только брэнчать на маленькой цитре, — ободрительно сказал Мэррель. — Это нечто в роде средневековой вариации древнего банджо.

— Важнее всего, — серьезно сказал Арчер, — чтобы был, если можно так выразиться, богатый романтический фон. Для этого и нужен второй трубадур. Как в «Лесных любовниках» — мечты о прошлом, о странствующих рыцарях, об отшельниках и тому подобное.

— Довольно трудно изобразить богатый романтический фон на основании таких скудных указаний, — заметил Мэррель. — Но вы, конечно, понимаете, в чем дело? Будьте же фоном, мистер Херн!

Длинное лицо мистера Херна приняло выражение величайшего горя.

— Я в отчаянии, — сказал он. — Я очень хотел бы вам помочь. Но это совсем не моя эпоха!

Все посмотрели с недоумением на него, а он продолжал свою речь, как бы думая вслух.

— Гэртон Роджерс — вот, кто вам нужен. Очень хорош Флойд. Но он больше подошел бы к четвертому Крестовому походу. Я думаю, что лучший совет, который я мог бы вам дать, это обратиться к Роджерсу из Баллиоля.

— Я с ним немного знаком, — сказал Мэррель, глядя с кривой усмешкой на Херна. — Он был моим учителем.

— Великолечно! — сказал библиотекарь. — Лучше быть не может!

— Да, я его знаю, — сказал Мэррель серьезно. — Ему скоро будет сорок три года. Он совершенно лыс и так толст, что едва ходит.

Девушка бесцеремонно фыркнула.

— Бог мой, — сказала она. — Подумать только: тащить его из Оксфорда, чтобы нарядить таким образом. — И она, покатываясь со смеху, указала на ноги мистера Арчера, принадлежность которых к какой-нибудь определенной эпохе было бы трудно определить.

— Он сумел бы передать колорит эпохи, — сказал библиотекарь, качая головой. — А если вас затрудняет то, что его придется выписывать из Оксфорда, то ведь другой человек, которого я тоже мог бы рекомендовать, живет еще дальше — в Париже. Найдется еще пара французов и один немец. Но в Англии больше нет историков.

— Позвольте, — возразил Арчер. — Бэн-Кок са-

мый знаменитый исторический писатель со времен Маколея. Он известен во всем свете.

— Он пишет книги? — спросил библиотекарь с легким оттенком неудовольствия. — Нет, вам подойдет только Гэртон Роджерс.

Леди в рогатом головном уборе, наконец, потеряла терпение..

— Ах, боже мой, — воскликнула она, — но ведь это только на два часа!

— Этого достаточно, чтобы наделать ряд мелких ошибок, — сказал мрачно библиотекарь. — Для того чтобы в течение целых двух часов воспроизводить историческую эпоху, надо поработать больше, чем вы полагаете. Если бы это была моя эпоха. . .

— Ну, если нам нужен ученый, то кто же подойдет больше вас? — победоносно, но без достаточной логики спросила леди.

Херн тоскливо смотрел на нее. Потом устремил взор на горизонт и вздохнул.

— Вы не понимаете, — сказал он тихим голосом. — Эпоха, которую человек изучает, это в некотором роде его жизнь. Надо вжиться в средневековые картины и барельефы для того, чтобы хоть раз пройти по комнате так, как это сделал бы средневековый человек. В своей эпохе я могу это сделать. Мне говорят, что жрецы и боги на хеттитской резьбе кажутся деревянными. А я убежден, что по этим деревянным ногам можно угадать их танцы. И я точно слышу их музыку.

Впервые, после непрерывной трескотни разговора, наступила минутная тишина. Глаза библиотекаря, как

у сумасшедшего, блуждали в пространстве. Помолчав немного, он продолжал свой монолог.

— Если бы я стал изображать эпоху, в которую я не вложил свою душу, то на каждом шагу делал бы ошибки и все перепутал бы. Если бы я заиграл на цитре, о которой вы говорите, то это было бы совсем не то, что нужно. Я стал бы играть на ней так, как на «шинауме» или, в лучшем случае, как на эллинском «гинописе». Всякий видел бы, что мои жесты несколько не похожи на жесты людей конца двенадцатого века. И всякий сразу сказал бы: «Это хеттитские жесты».

— О да, именно это самое разом вырвалось бы из сотни уст! — задумчиво заметил Мэррель, разглядывая Херена.

Он пристально смотрел на библиотекаря, потешаясь над ним с явным удовольствием. Но в то же время чувствовал серьезность происходящего. Ибо в лице Херна было выражение искреннего убеждения.

— Да бросьте вы все это! — воскликнул Арчер, точно стараясь сбросить с себя тяжесть гипноза. — Говорят вам, что это только пьеса. Я свою роль уж знаю. А она гораздо больше вашей.

— Как бы там ни было, а вы уже изучили и свою роль и всю пьесу, — настаивал Херн. — Вы вдумались в трубадуров, вжились в эпоху. А я ничего этого не проделал. Непременно найдется какая-нибудь мелочь, какой-нибудь пустячок, о который я споткнусь. Что-нибудь я непременно сделаю не по-средневековому. Не могу же я соперничать с теми, кто изучил предмет: ведь вы, конечно, изучили эпоху.

Он умолк, остановив взгляд на красивом лице нахо-

дившейся перед ним молодой женщины. Позади нее в тени виден был Арчер, который всей своей фигурой шутливо выражал полную безнадежность.

Библиотекарь вышел внезапно из овладевшей им задумчивости.

— Во всяком случае я подыщу вам что-нибудь в библиотеке, — сказал он, точно очнувшись от сна, и быстро повернулся к полкам. — Там на верхней полке есть прекрасные французские работы по всем вопросам, касающимся этой эпохи.

Библиотека представляла собой высокую залу, с необыкновенно высоким сводом, как в церкви. Возможно, что тут в самом деле была когда-нибудь церковь или часовня, потому что библиотека помещалась в самом здании прежнего Сивудского аббатства. Добраться до верхней полки можно было только при помощи лестницы, которая была прислонена к книжному шкафу. Никто не успел опомниться, как библиотекарь, под влиянием внезапного порыва, вскарабкался уже на самую верхнюю ступеньку. Он стал шарить среди пыльных томов, ряды которых смутно виднелись внизу и представлялись в уменьшенных размерах. Вынув большой фолиант, он раскрыл его. Но рассматривать его, балансируя на лестнице, было неудобно, и он пригнулся на полке в промежутке, образовавшемся на месте вынутого фолианта. Так он сидел, фолиант среди фолиантов, напоминая собой некий новый вклад в сокровищницу библиотеки.

Под сводчатым потолком было темно. Он преспокойно зажег электрическую лампочку. Наступила тишина. Он невозмутимо сидел на своем месте, свесив

вниз длинные ноги и спрятав голову за кожаной преградой фолианта.

— Сумасшедший, — сказал Арчер вполголоса. — Как вы полагаете: он тронулся, а? Смотрите, он совсем забыл про нас. Если убрать лестницу, он этого и не заметит. А как вы думаете, Обезьяна? Вот случай устроить шутку в вашем вкусе.

— Нет, благодарю вас, — сухо ответил Мэррель.

— Почему нет? — спросил Арчер. — Вы ведь убрали лестницу, когда премьер-министр взобрался на верхушку колонны, чтобы снять покрывало со статуи, и оставили его там на три часа.

— Это другое дело, — мрачно сказал Мэррель.

Но он не объяснил, почему это другое дело. Может быть, он и сам не знал хорошенько, в чем тут разница. Причиной тогдашнего поступка могло быть то, что премьер-министр был его двоюродный брат и что полез он наверх из политиканства. Как бы то ни было, но, когда Арчер взялся было за лестницу, чтобы отодвинуть ее, он резко велел ему оставить шутку, и в тоне его послышалась ярость.

Но в это время его окликнул знакомый голос из сада. Он обернулся и увидел в дверях темный силуэт Оливии Эшли. В ее позе было нетерпеливое ожидание.

— Оставьте эту лестницу в покое, — поспешно сказал Мэррель, оборачиваясь на ходу, — или клянись...

— Что? — вызывающе спросил Арчер.

— Или я снизойду до того, что он назвал бы хеттским жестом, — сказал Мэррель и быстро пошел к ожидавшей его Оливии.

Розамунда тем временем уже удалилась с Оливией в сад, чтобы что-то сообщить ей. И Арчер был оставлен наедине с замечтавшимся библиотекарем и заманчивой лестницей.

Арчер чувствовал себя в положении подзадоренного школьника. Он был не трус и к тому же тщеславен. Не задев ни одной пылинки на пыльных полках и ни одного волоса на голове библиотекаря, погруженного в чтение фолианта, он отцепил лестницу от полки, спокойно вынес ее в сад и прислонил к наружной стене. Потом стал искать глазами остальных и увидел их в отдалении на лугу. Они стояли группой и о чем-то оживленно беседовали.

ГЛАВА IV.

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЭНТРИ.

Джентльмен, по имени Обезьяна, направился по лугу к одинокому монументу (если его можно так назвать) или, лучше сказать, к какой-то развалине, помещенной среди обширного пустого пространства. Это был обломок готических ворот старого аббатства, нелепым образом воздвигнутый на пьедестале по романтической прихоти одного из Сивудов, жившего сто лет назад и отчего-то вообразившего, что накопление мха и лунного света придаст обыкновенному камню особый романтический колорит и сделает его предметом вдохновения для какого-нибудь мечтательного поэта. На близком расстоянии этот монумент представлялся в виде отвратительного чудовища с поднятыми кверху глазами, похожего на умирающего дракона. Рядом торчало нечто вертикальное — не то колонна, не то обрубок нижних конечностей человека.

Но не был антиквара повлек мистера Дугласа Мэрреля на это место. Здесь ему назначила свидание нетерпеливая леди, вызвавшая его из библиотеки. Он издали увидел фигуру Оливии Эшли. Она стояла у памятника в гораздо менее покойной позе, чем тот

на своем пьедестале. Даже издали заметны были ее нервные жесты. Она была единственным человеком, который удостоивал своего внимания каменный обломок. Но теперь и она на него не смотрела.

— Я хочу попросить вас об одном одолжении, — резко начала она, не дожидаясь, пока он заговорит. И прибавила не совсем последовательно: — Я собственно не понимаю, почему это одолжение для меня. Но это неважно. Вы должны это сделать ради общего блага.

— Вижу, — сказал Мэррель серьезно, но с оттенком иронии.

— Этот человек ваш друг. Я говорю об этом Брэнтри. — Тут она снова переменяла тон и с жаром продолжала: — Вы сами виноваты: это вы привели его!

— Да, но в чем же дело? — терпеливо спросил ее собеседник.

— В том, что я его не выношу! — сказала она. — Он проявил такую отвратительную грубость, что...

— Позвольте! — воскликнул Мэррель с необычной ноткой в голосе.

— О, нет, — со злобой оборвала Оливия, — совсем не это! Я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь с ним дрался. Он груб, но не в смысле нарушения приличий. Просто он ужасно самоуверен, упрям, восстает против законов и все время повторяет эти ужасные длинные слова заграничных памфлетов. Он болтает всякую ерунду о каком-то координированном синдикализме и о чем-то таком... пролетарском...

— Конечно, эти слова вовсе не годятся для губок леди, — сказал Мэррель, качая головой, — но боюсь,

что я не совсем понимаю, в чем дело. Если не требуется убивать его за слова о координированном синдикализме (а это, по-моему, совершенно достаточное основание для того, чтобы убить человека), то чего же вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы вы ему вбили в голову, что он просто-на-просто неуч, — мрачно ответила молодая женщина. — Ведь он никогда не бывал с образованными людьми. Это видно по тому, как он ходит, как одевается. И я чувствую, что могла бы его еще кое-как выносить, если бы не эта торчащая вперед ужасная черная щетинистая борода. Без этой бороды он был бы еще терпим.

— Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я пошел и насильно побрил этого джентльмена? — спросил Мэррель.

— Что за глупости! — ответила она нетерпеливо. — Я говорю только о том, что хотела бы с ним повидаться и посоветовать ему сн^ять бороду. Я объяснила бы ему, какой вид имеют настоящие джентльмены. Все это ради его собственной пользы. Он мог бы быть гораздо, гораздо лучше.

— Он должен пойти на дополнительные или на вечерние курсы? — с невинным видом осведомился Мэррель. — Или, может быть, в воскресную школу?

— В школе ничему нельзя выучиться, — ответила она. — Выучиться можно только в жизни. Я хочу показать ему, что есть вещи поважнее его фантазий. Пусть он послушает разговоры о музыке, об архитектуре, об истории, обо всем, что занимает настоящих интеллигентных людей. Он огрубел от плеванья на

улицах, от безобразий в трактирах, от невежественной среды. А когда он попадет в общество культурных людей, то тотчас поймет, как он был глуп. У него на это хватит ума.

— И вот, в поисках настоящего культурного человека, вы естественно первым делом подумали обо мне, — заметил одобрительно Обезьяна. — Вы хотите, чтобы я привязал его к стулу в гостиной и устроил торжественный чай с рассуждениями о Толстом, о Тэпере или о каком-нибудь другом избраннике моды. Дорогая моя Оливия, он не придет.

— Я об этом подумала, — поспешно сказала она. — В этом-то и состоит одолжение, т. е. одолжение ему и, конечно, всем вообще. Видите ли, я хочу, чтобы вы убедили лорда Сивуда пригласить его на деловое совещание по поводу забастовки. Ради этого он придет. А потом мы его представим людям, которые будут вести с ним развивающую его беседу, так что он сразу почувствует, как он умственно вырастает. В самом деле, это серьезно, Дуглас. Ведь он имеет страшное влияние на этих рабочих. Мы должны показать ему ту правду, которой они так жаждут, — ведь он по-своему хороший оратор.

— Я всегда знал вас, как гордую аристократку, — сказал он, глядя на тонкую талию маленькой леди, — но я никогда не думал, что вы такая дипломатка. Кажется, придется принять участие в вашем страшном заговоре, если вы уверяете, что это ради его собственного блага.

— Конечно, ради его блага, — доверчиво ответила она. — Иначе мне это не пришло бы в голову.

— Вот именно, — ответил Мэррель, и пошел к дому.

Теперь он шел медленнее, чем когда направлялся на место свидания. Он не заметил лестницы, прислоненной к наружной стене дома, и совсем забыл о своем столкновении с Арчером.

Проект Оливии просветить невежественного синдикалиста посредством сближения его с людьми просвещенными дал достаточно пищи для его размышлений на все время, какое требовалось, чтобы пройти через зеленый лут. Он шел, глубоко засунув руки в карманы брюк. Правда, в этом проекте был какой-то смысл. Оксфорд, например, придает лоск людям. Они начинают понимать пользу науки, хотя и продолжают пренебрегать ею. Но Мэррель не мог вообразить себе подобного эксперимента по отношению к синдикалисту, представителю погребенных под землей углекопов. Он не мог представить себе твердого и сурового Джека Брэнтри изящно держащим папироску или чашку чая и беседующим о румынском Шекспире. Он знал, что сегодня состоится такого рода раут, но представить себе на нем Брэнтри! Конечно, существует целый мир вещей, незнакомых этому неотесанному человеку. Но хочет ли он вообще их знать?

Однако, раз уже решив помочь обществу и Оливии Эшли, он серьезно принялся за дело. Он даже отложил на время свою обычную шутливдость. Он направил шаги к той части здания, где помещался уединенный кабинет самого лорда Сивуда. Там он оставался в течение часа и вышел улыбаясь.

В результате всех этих маневров, ничего не подо-

зревавший Брэнтри, после торжественного и бесплодного приема в кабинете великого капиталиста, был вытолкнут прямо в салон, где аристократы духа должны были упорядочить его образование. Вид у него был, в самом деле, самый беспорядочный. Волосы торчали во все стороны, вероятно, вследствие первого столкновения с просвещением. Он стоял, сгорбившись и нахмутив брови. Мрачное выражение лица было еще заметнее от того, что было совершенно произвольным. Несмотря на свою довольно приличную внешность, он казался в этой компании невзрачным.

Он осматривался кругом с видом далеко не дружелюбным, между тем как остальные, надо отдать им справедливость, проявляли по отношению к нему даже некоторый избыток дружелюбия и сердечности. Особенно выделялся в этом отношении один лысый, крупный джентльмен, похожий на того арабского властителя, чей шопот был страшнее всякого крика.

— Что нам нужно для мирного развития промышленности, — вкрадчиво говорил он, прижимая крепко стиснутый кулак одной руки к вогнутой ладони другой, — это твердая промышленная система. Не слушайте реакционеров, которые говорят, что просвещение народа есть ошибка. Массы должны быть просвещенными и, прежде всего, просвещенными экономически. Как только мы вобьем в головы народа хоть самые элементарные понятия о законах политической экономии, то сейчас же прекратим этим способом все те конфликты, которые вредят нашей торговле и угрожают общественному спокойствию. Мы все, без различия убеждений, хотим предотвратить взрыв.

Я уверен, что ни одна партия не хочет этого. Этот вопрос стоит вне всяких партий.

— А если я скажу, — произнес Брэнтри, — что мы хотим прекращения безработицы, то это разве не должно быть вне всяких партий?

Джентльмен бросил на него косой взгляд.

— О, без сомнения, — ответил он.

Последовало молчание, после которого раздалось несколько беззаботных замечаний о погоде. Брэнтри обнаружил, что крупный джентльмен куда-то стушевался. Его лысая голова и торжественно-круглые очки заставляли предполагать в нем профессора политической экономии. Но его речи производили совсем другое впечатление. Во всяком случае, начало образовательного курса для мистера Брэнтри было не из удачных, так как этот мрачный человек остался в том убеждении, что защитник экономического просвещения масс плохо знаком с вопросом о безработице.

Однако первую неудачу нельзя было принимать во внимание, так как лысый джентльмен (который фактически оказался неким сэром Ховэрдом Прайсом, главой очень крупного мыльного предприятия) нечаянно забрался в пределы узкой компетенции синдикалиста. Но в салоне были люди, которые и не пытались входить в обсуждение вопросов промышленной системы, и в числе этих господ был, само собой разумеется, мистер Альмерик Вистер.

Где бы кто бы ни собирался, везде присутствовал и мистер Альмерик Вистер. Он был неподвижной точкой, вокруг которой группировались все безличные ничтожества светского круга. Он умудрялся в один и тот же

день бывать на дневном чае в нескольких домах сразу, так что создавалось впечатление, будто это не человек, а целый синдикат. Много таких Вистеров рассыпано по гостиным. Все они высокого роста, худощавого сложения и старательно одеты. У всех глубокие впадины глаз, сильный бас и жидкие, но с претензией на эстетизм причесанные волосы. Таких Вистеров сколько угодно бывает и в провинциальных гостиных, и все они до того одинаковы, что кажется, будто их поставляет один и тот же синдикат.

У Вистера была неопределенная репутация знатока искусств и эксперта по части прочности красок. Он был из тех, которые помнят еще Россетти и хранят про себя множество анекдотов об Уистлере. Когда его познакомили с Брэнтри и его взгляд упал на его красный галстук, Вистер справедливо заключил, что Брэнтри не принадлежит к числу знатоков искусства, и сразу почувствовал некоторое облегчение при мысли, что на этот раз ему не придется проявлять свои познания в большей мере, чем обыкновенно. Его запавшие глаза перебежали с красного галстука на картину Липпи или какого-то другого художника раннего итальянского возрождения. Сивудское аббатство обладало столь же прекрасными картинами, сколь и прекрасными книгами. По ассоциации идей Вистеру припомнилась жалоба Оливии Эшли на то, что пурпур, употреблявшийся когда-то для ангельских крыльев, теперь — давно утраченный технический секрет. Подумать только, что выцвела «Тайная вечеря»...

Брэнтри, не обладавший специальными сведениями в живописи и ничего не понимавший в красках,

вежливо соглашался. Его равнодушие как будто подтверждало мнение о нем, составленное на основании его яркого галстука. Эксперт, окончательно убедившись в том, что он говорит с полнейшим профаном, расплылся от величественного снисхождения и разразился целой лекцией.

— Рескин судит об этом совершенно правильно, — говорил он. — Вообще Рескин заслуживает полного доверия, конечно, если относиться к его работам, как к введению в предмет. За исключением Патера, у нас не было другого столь же авторитетного художественного критика. Демократия, правда, не признает авторитетов, но боюсь, мистер Брэнтри, что демократия не признает вообще искусства.

— Была бы демократия, а искусство приложится, — проговорил Брэнтри.

— Боюсь, что у нас и без того достаточно демократии, чтобы совсем пропало уважение к художественным авторитетам, — возразил Вистер, качая головой.

В этот момент к ним приблизилась рыжеволосая Розамунда, таща за собой через толпу рослого молодого человека с таким же выразительным лицом, как у нее. Этим, впрочем, и ограничивалось сходство между ними, так как он — со своими короткими волосами и торчащими, как зубная щетка, усами — был далеко не красив. Но у него были приятные простые манеры. Взгляд его глаз был ясный и смелый. Это был соседний помещик, по фамилии Хэнбери, известный своими путешествиями по тропикам. Представив его и обмежавшись несколькими словами с гостями, она обратилась к Вистеру:

— Я вас, кажется, прервала?

— Я говорил, — небрежно, с оттенком снисхождения, проговорил Вистер, — что, как мне кажется, для нас настал век демократии и маленьких людей. Великие люди предыдущей эпохи исчезли.

— Да, конечно, — почти машинально ответила девушка.

— Нет больше гигантов, — продолжал он.

— Подобные жалобы, вероятно, раздавались в Корнваллисе, — заметил Брэнтри, — когда Джек, убийца великанов, закончил свою профессиональную деятельность.

— Если бы вам были известны труды великих предшественников, — наставительно, с некоторым раздражением ответил Вистер, — то вы, может быть, поняли бы, что я разумею под словом «гиганты».

— Неужели вы хотели бы истребления великих людей, мистер Брэнтри? — воскликнула леди.

— Это было бы не так бессмысленно, — ответил Брэнтри. — Теннисон, например, заслуживает быть побитым камнями за его «Королеву мая». Броунинга следовало бы побить камнями за рифму «rromise» и «from mice», Карлейля — за то, что он был Карлейль, Герберта Спенсера за то, что он написал «Человек и государство», Диккенса за то, что он слишком поздно убил маленького Нелля, Рэскина — за его слова о том, что человеку не требуется больше свободы, чем солнцу, Гладстона — за то, что он предал Парнелля, Дизраэли за его речи на тему об «ограничении королевской власти», Тэккеря...

— Пощадите! — со смехом прервала леди. —

Остановитесь наконец! Однако сколько вы читали!

Вистер плохо скрывал свое раздражение.

— Если хотите знать, — сказал он, — то так рассуждает толпа с ее ненавистью ко всякому превосходству. Вечное желание унижить все достойное. Вот почему ваши дьявольские трэд-унионы не хотят хорошему рабочему платить больше, чем плохому.

— Это имеет экономическое оправдание, — сдержанно сказал Брэнтри. — Один из авторитетов доказывает, что хорошая работа должна оплачиваться одинаково со всякой.

— Карл Маркс, наверно? — брюзгливо спросил эксперт.

— Нет, Джон Рэскин, — ответил тот. — Один из упомянутых нами великанов. — Потом добавил: — Правда, эта мысль принадлежит не Джону Рэскину, а Иисусу Христу, который, увы, не имел чести принадлежать к нашей эпохе.

Молодой человек, по имени Хэнбери, должно быть, почувствовал, что разговор принимает как будто религиозный характер и становится неприличным. Он перебил спорящих умиротворяющим вопросом:

— Вы приехали из угольного района, мистер Брэнтри?

Тот, слегка нахмурившись, кивнул утвердительно головой.

— Кажется, среди углекопов беспокойно? — осведомился новый собеседник мистера Брэнтри.

— Наоборот, — ответил Брэнтри, — они пребывают в полном покое.

Тот подумал немного, как бы в недоумении, и потом быстро спросил:

— Разве забастовка кончилась?

— Нет, забастовка в полном разгаре, — мрачно ответил Брэнтри. — Оттого они и в покое.

— Что вы хотите этим сказать? — воскликнула практическая молодая леди, которой было суждено в близком будущем превратиться в принцессу трубадуров.

— То самое, что я говорю, — коротко отрезал мистер Брэнтри. — По-вашему, забастовка это бросание бомб и взрывание домов. А на самом деле забастовка — просто-на-просто отдых.

— Но ведь это парадокс! — воскликнула молодая леди, с таким видом, точно затевалась какая-то очень веселая комнатная игра, обеспечивавшая успех ее вечеру.

— Я бы сказал, что это пошлая истина, — ответил Брэнтри. — Во время забастовки рабочие отдыхают, а это, смею вас уверить, совершенно новое состояние для многих из них.

— Разве вы не признаете, что истинное отдохновение заключается в труде? — проговорил густым голосом Вистер.

— Несомненно, — сухо ответил Брэнтри. — Наша страна считается свободной, по крайней мере для вас. Вы можете поэтому смело утверждать, что истинный труд заключается также в ничегонеделании. И тогда вы должны одобрить забастовку.

Молодая леди разглядывала его с упорным вниманием. Выражение ее лица непрерывно менялось, как

у человека, в котором совершается медленный мозговой процесс. Она искренно старалась вникнуть в те новые понятия, которые возникали перед ней и настоятельно требовали разъяснения. Выросши в развращающей обстановке богатства, она, однако, сохранила еще чистоту сердца и могла прямо смотреть в глаза людям.

— Не думаете ли вы, — сказала она, наконец, — что мы спорим только о словах?

— Ну, если вы так ставите вопрос, — мрачно ответил Брэнтри, — то я вам скажу, что тут спор совсем не о словах. Наоборот, мне кажется, что мы пытаемся сговориться, стоя на противоположных краях бездны. И эта безна — вот в этих, только что произнесенных словах. Послушайте моего совета: если хотите, чтобы мы принимали всерьез ваше отрицание забастовки, как что-то сознательное и обдуманное, говорите все, что угодно, только не это. Говорите, что в углекопов вселился дьявол, что они анархисты, предатели, нехристи, безумцы. Но не говорите, что среди углекопов «неспокойно». Такие слова выдают то, что скрывается в самых глубоких извилинах вашего мозга. Это очень старая вещь, которой имя — Рабство.

— Поразительно! — сказал мистер Вистер.

— Не правда ли? — откликнулась леди. — Потрясающе!

— Уверяю вас, это очень просто, — ответил синдкалист. — Представьте себе, вместо шахты, ваш подвал для угля и работающего там человека. Предположим, что он обязан целый день крошить для вас уголь. Вы слышите удары его молота. Вы платите за это деньги. И вы совершенно убеждены, что этой платы доста-

точно. Как бы то ни было, вы непрерывно слышите его удары, а сами курите или играете на рояле. И вот шум в погребѣ внезапно прекращается. Может быть, этому так и следует быть, а может быть, и нет. Но разве вы не понимаете (впрочем, как вам это понять), какой странный смысл получает в ваших устах гамлетовское обращение к знаменитому кроту под землей: «Успокойся ты, страждущая тень!»

— А-а, — любезно сказал мистер Вистер. — Я рад, что вы читали Шекспира.

Брэнтри продолжал, не обратив внимания на его слова:

— Когда смолкнут равномерные удары молота, что вы скажете тогда человеку, находящемуся внизу во мраке подвала? Вы не поблагодарите его, если он хорошо работает, и даже не пошлете его к чорту, если он работает плохо. Вы только скажете ему: «Успокойся. Усни. Продолжай пребывать в нормальном для тебя состоянии. Нерушимо сохраняй естественный покой, который состоит для тебя в убаюкивающем, ритмическом, однообразном движении. Для тебя это то же, что сладкий сон. Это твоя вторая натура и основа всего социального порядка. А потому — продолжайте и не беспокойся».

Во время своей пылкой, но сдержанно произносимой речи он стал замечать, как понемногу увеличивается количество обращенных на него глаз. Повернутые к нему лица не выражали ни малейшей злобы, но производили такое впечатление, точно это первые ряды огромной толпы, идущей на него сомкнутым строем. Он увидел Мэрреля, с меланхолической улыбкой

посматривавшего на него поверх тонкой папироски, и Арчера, то-и-дело оглядывавшегося через плечо, как будто с опасением, что Брэнтри подожжет дом. Он увидел любопытные лица разных дам, жадных до всяких происшествий. Все эти лица сливались в каком-то тумане. Но в дальнем углу до странности отчетливо выделялось одно бледное, выразительное лицо. Это было лицо маленькой мисс Эшли, художницы. Она наблюдала.

— Человек в подвале, — продолжал он, — для вас только незнакомец с улицы, который спустился в черную яму, чтобы справиться с угольной глыбой, как он справляется с диким зверем или слепой силой природы. Битье угля в угольном подвале — это работа. Битье угля в угольной шахте — это уже приключение. Дикий зверь в своей берлоге опасен. Битва со зверем и есть вековечное беспокойство. Это борьба со стихиями — та самая, какую ведет человек, прокладывая себе путь в африканском лесу.

— Мистер Хэнбери, — улыбаясь, сказала Розамунда, — только что вернулся из подобной экспедиции.

— Да, — ответил Брэнтри, — но если он не отправится туда опять, вы не станете говорить, что среди путешественников «неспокойно».

— Вот это так! Прекрасно, — сказал Хэнбери со своей обычной непринужденностью.

— Разве вы не видите, — продолжал Брэнтри, — что, когда вы говорите о нас, то вы представляете себе какой-то часовой механизм, тиканье которого вы замечаете только тогда, когда оно прекращается.

— Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать, — проговорила Розамунда, — и не забуду этого.

И действительно, не отличаясь особенным умом, она обладала редкой и ценной способностью: никогда не забывать того, чему она раз научилась.

ГЛАВА V.

ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЭНТРИ.

Дуглас Мэррель знал свет. Знал он, конечно, только высший свет, а счастливое пристрастие к плебейскому кругу спасало его от самодовольного убеждения, что он знает весь свет. И он прекрасно понимал, что произошло.

Брэнтри, приглашенный сюда в том предположении, что он будет приведен в молчаливое смущение, на самом деле получил поощрение к разговору. Может быть, в этом случае некоторую роль сыграло любопытство пресыщенных людей по отношению ко всему новому, стихийному, дикому. Однако дикарь имел решительный успех. Он говорил много и без всякого самомнения. Это был голос убежденного человека.

Мэррель знал свет. И он предвидел, что должно произойти дальше. Сначала выступали глупцы, те самые, которые никак не могут обойтись без того, чтобы не спросить у исследователя полярных стран, как ему понравился северный полюс, а у негра, каково быть черным. Старый торговец неизбежно должен был заговорить о политической экономии со всяким, в ком он подозревал политического деятеля. Пускай этот старый осел Вистер прочел ему лекцию о великих

предшественниках. Бойкий самоучка без особого труда показал всем, что он образованнее их.

Теперь дело перешло в следующую стадию, и на него обратили внимание уже люди другого сорта. Вооруженные сарказмом представители интеллигенции — те, которые не ведут споров о торговле, а с негром беседуют только о погоде — теперь заговорили с синдикалистом о синдикализме.

Ответом на его первый бурный натиск было перешептывание гостей, после чего мужчины спокойно стали задавать ему ядовитые вопросы, соглашаясь со многими из его положений, но тут же выставляя фундаментальные возражения. Мэррель был потрясен, когда услышал голос старого Идена, никогда не разевавшего рта и заключавшего в себе полное собрание застегнутых на все пуговицы дипломатических и парламентских секретов.

— Согласны ли вы отнестись с некоторым снисхождением к мнению философов древности: Аристотеля и других? — говорил старый Иден своим гортанным голосом. — Может быть, в самом деле должен существовать класс людей, работающих для нас в подвале.

Глаза Брэнтри вспыхнули. Но не от злости, а от радости: ибо теперь он видел, что его поняли.

— Так, так! — сказал он.

Некоторым из присутствующих восклицание Брэнтри показалось такой же дерзостью, как если бы он сказал лорду Идену, что тот говорит глупости. Но сам лорд Иден был достаточно умен, чтобы понять, что это в самом деле комплимент.

— Так, так... Но если вы становитесь на такую

точку зрения, то как вы можете жаловаться на народ, от которого вы так резко себя отделяете? Раз существует подобный класс, то вряд ли вы можете удивляться, что он обладает своим классовым сознанием.

— Ну, и другие, я надеюсь, тоже имеют право на классовое сознание, — сказал Иден с улыбкой.

— Вот именно, — заметил Вистер. — Аристократ, благородный человек, как говорит Аристотель...

— Позвольте, — с некоторым раздражением прервал Брэнтри. — Я, правда, читал Аристотеля в дешевых переводах, но я все-таки читал его. А такие джентльмены, как вы, прилежно учатся в школе по-гречески, а потом не берут в руки греческой книги. Аристотель, насколько я понимаю, изображает этого благородного человека в очень величественном виде. Но у него нигде не сказано, что это аристократ в вашем смысле.

— Совершенно верно, — сказал Иден. — Ни один из греческих демократов не сомневался в необходимости рабства. На мой взгляд, можно привести гораздо больше доводов в оправдание рабства, чем в защиту аристократии.

Синдикалист выразил свое горячее согласие, между тем как мистер Альмерик Вистер пришел в некоторое смущение.

— Признавая рабство, — продолжал Брэнтри, — вы не можете отрицать за рабами право оплачиваться и обзаводиться собственным мнением. Вы не можете взывать к их гражданскому чувству, если они исключаются из числа граждан. Я один из таких рабов. Я вышел из угольного подвала. Я представитель этих

суровых, неотесанных, неопрятных людей. Я один из них. Сам Аристотель не мог бы отрицать мое право на их защиту.

— И вы их защищаете прекрасно, — сказал Иден.

Мэррель меланхолически улыбался. Ветер подул в другую сторону. Он видел признаки перемены погоды и замечал освежение атмосферы, окружавшей синдикалиста. Он слышал уже, как некий финальный аккорд, рокочущий голос леди Буль: «В любой четверг... мы были бы так рады».

Мэррель, сохраняя на лице меланхолическую улыбку, повернулся на каблуках и прошел в тот угол, где сидела Оливия Эшли. Он заметил ее сжатые губы и опасный блеск в ее темных глазах.

— Боюсь, что наша шутка вышла боком, — обратился он к ней тоном деликатного сочувствия. — Мы думали, что он будет медведем, а он превратился в льва.

Она подняла глаза и вдруг улыбнулась совершенно неожиданной, сияющей улыбкой.

— Он перещелкал их всех, как кегли, не правда ли? — воскликнула она. — Сам старый Иден ни чуточки не напугал его.

Мэррель смотрел на нее с новым выражением смущения на своем печальном лице.

— Это очень странно, — сказал он. — Вы как будто гордитесь вашим protégé.

Он продолжал смотреть на ее странную улыбку и, наконец, сказал:

— Я не понимаю женщин. Их никто никогда не поймет. И очень опасно пытаться понять. Но если мне разрешается делать по этому поводу какие-нибудь

догадки, моя дорогая Оливия, то я скажу, что я все больше подозреваю в вас маленькую обманщицу.

Он удалился от нее со своим обычным мрачным добродушием. Вечер уже кончался. Гости расходились. Он немного помедлил у выхода в сад и пустил в нее последнюю парфянскую стрелу с ядом.

— Я не понимаю женщин, — сказал он, — но я кое-что смыслю в мужчинах. Теперь я возьму на себя заботу о вашем ученом медведе.

Красивое Сивудское аббатство, казавшееся отрезанным от всего мира, на самом деле находилось в каких-нибудь пяти или шести милях от одного из тех почерневших от дыма провинциальных городов, которые повыскакивали среди приветливых холмов и долин с тех пор, как карта Англии превратилась в сплошную сеть угольных копей. Этот город, сохранявший свое старое имя Милльдайка, не успел еще достаточно разрастись, но был уже пропитан насквозь дымом. Он имел отношение не столько к угольной промышленности, сколько к обработке побочных продуктов. Тут было множество фабрик, выделявавших различные предметы из угольных отбросов. Джон Брэнтри жил на одной из беднейших улиц города. Он находил это не совсем удобным, но не считал неприличным. Его политическая работа была направлена главным образом на установление связи между рабочими, непосредственно занятыми на угольных копях, и мелкими рабочими организациями для побочных промыслов.

В сторону этого города и было обращено лицо Брэнтри, когда он повернул спину к роскошному дворцу, которому он только что нанес такой странный

и, повидимому, бесцельный визит. Когда Иден, Вистер и прочие сельские магнаты укатили в своих элегантных автомобилях, он гордо направился к скромному омнибусу, совершавшему рейсы между дворцом и городом. Взобравшись на омнибус, он не без удивления увидел мистера Дугласа Мэрреля, который карабкался вслед за ним.

— Ничего не имеете против того, чтобы поделиться со мной вашим омнибусом? — спросил Мэррель, опускаясь на скамью рядом с единственным пассажиром, ибо, кажется, больше никто не имел желания путешествовать в этом экипаже.

Они сидели на передней скамье, и когда омнибус тронулся, ночной воздух с силой ударил им в лица. Это как будто пробудило Брэнтри от его размышлений, и он несколько рассеянно выразил согласие на совместное путешествие.

— Дело в том, — сказал Мэррель, — что мне хочется взглянуть на ваш угольный подвал.

— Но вы не захотели бы быть там запертым, — ответил тот с хмурым видом.

— Конечно, я бы предпочел быть запертым в винном погребе, — согласился Мэррель. — Это была бы новая вариация вашей басни о труде. Тщеславные, праздные люди, кутящие наверху, и однообразный, упорный звук выскакивающих пробок, повторяющих неустанно: «Да, я тут внизу, подавленный бременем труда и забот, никогда не ведающий покоя». Да, старый друг, вы столько интересного рассказали о себе и о труппах ваших товарищей, что я почувствовал непреодолимое

желание взглянуть самому на все это хоть уголком глаза.

Мистер Альмерик Вистер и все прочие сочли бы крайне бестактным говорить бедняку о его грязной трущобе. Однако Мэррель в данном случае не проявил никакой бестактности. Он не ошибался, когда утверждал, что знает людей. Он знал болезненное самолюбие мужчин. И знал почти маниакальный ужас своего друга перед снобизмом. Говорить о Брэнтри, как о рабе угольного подвала, значило только льстить его гордости.

— Здесь главным образом все красильные заводы, не правда ли? — спросил Мэррель, смотря на лес фабричных труб, показавшийся сквозь дымку на горизонте.

— Здесь обрабатываются угольные отбросы, — ответил его друг. — Из них приготавливаются химические краски, пигмент, эмаль и тому подобное. Мне кажется, что при капиталистическом строе отбросы имеют больше значения, чем главный продукт. Говорят, что миллионы вашего друга Сивуда в гораздо большей степени обязаны своим происхождением угольным отбросам, чем самому углю. А также, как я слышал, и красной куртке солдата.

— А что вы скажете о красном галстуке социалиста? — с упреком спросил Мэррель. — Джек, я не верю тому, что ваш красный галстук омочен в крови аристократов. Я о вас хорошего мнения и никак не могу себе представить, как вы возвращаетесь покрытый дымящейся кровью нашей старой знати. Притом я всегда был уверен, что у нее кровь голубая. Может

быть, вы ходячая реклама наших старых красильных фабрик? Покупайте наши красные галстуки. Большой выбор для синдикалистов. Мистер Джон Брэнтри, известный революционер, пишет: «С тех пор, как я стал носить ваши. . .»

— Теперь нельзя знать, откуда что идет, Дуглас, — спокойно сказал Брэнтри. — Мой галстук, может быть, сделан капиталистами, ну, а ваш — людоедами с каких-нибудь диких островов.

— Должно быть, соткан из миссионерских бакенбардов, — ответил Мэррель. — Забавная мысль.

— Условия работы на этих фабриках ужасны, — продолжал Брэнтри. — Особенно для тех несчастных, которые работают над ядовитыми веществами. Они едва только организовались еще в кой-какие союзы, и количество их рабочих часов все еще слишком велико.

— Да, чрезмерная работа изнуряет, — согласился Мэррель. — Кому хорошо в этом мире? Не так ли Билль?

Джону Брэнтри втайне, может быть, и льстило, что его друг всегда называл его Джеком. Но он никак не мог понять, почему, в приливе интимности, он назвал его Биллем, и уже собрался задать вопрос, когда ворчание, раздавшееся перед ним в темноте, напомнило ему еще об одном спутнике, о существовании которого он совсем забыл. Это был почтенный Вильям, кучера омнибуса, и Дуглас Мэррель, должно быть, привык его называть «Биллем». Ответное ворчание личности, называемой Биллем, было достаточным дока-

зательством совершенного согласия с тем, что число рабочих часов пролетариата слишком велико.

— Да, вы правы, Билль, — сказал Мэррель. — Вы еще счастливец, особенно сегодня. Старый Чарли будет в «Дракон», не правда ли?

— Уж конечно, — ответил кучер медленно и презрительным тоном. — Конечно, старый Чарли будет в «Дракон», но. . .

Он замолк, как будто считая, что зайти в «Дракон» — сущий пустяк, возможный даже для Чарли, но что все-таки в этом нет ничего утешительного.

— Вот мы и у «Дракона», — сказал Мэррель. — Надо кому-нибудь сойти и раздобыть старого Чарли.

Мэррель мгновенно скovyрнулся с верхушки омнибуса, при помощи особой ручки на перилах, и направился к шумному освещенному бару «Зеленый Дракон». Вид его был столь решителен, что двое других невольно последовали за ним. Кучер, полное имя которого было Вильям Понд, пошел без всякого сопротивления. Демократический же Джон Брэнтри подчинился не совсем охотно.

Переступив через порог, Брэнтри почувствовал, что очутился в совершенно новой для него обстановке. Это было что-то такое, к чему он раньше никогда не прикасался, чего не видел и не нюхал за все пятнадцать лет своей агитации. А здесь было много такого, что стоило посмотреть и понюхать, но чего ему вовсе не хотелось ни смотреть, ни тем более нюхать. Было жарко, тесно и в воздухе стояла трескотня голосов. Говорящим как будто было совершенно все равно, слышат их или нет. Разговоры наполовину были непонятны,

хотя, видимо, полны одушевления. Казалось, будто люди ругаются на датском или португальском языке. Из потока энергичных, но непонятных слов выскакивало иногда какое-нибудь выражение, которое вызывало авторитетный голос из-за прилавка: «Ну, ну, полегче!» и молчаливо бралось после этого обратно. Мэррель протиснулся к прилавку, дружелюбно кивая по дороге направо и налево, и, бросив несколько медных монет, спросил чего-нибудь выпить.

Среди всеобщего шума и гама был некий центр. Таким центром был маленький человечек, стоявший против прилавка. Внимание сосредоточивалось на нем не потому, что он вел разговор, а скорее потому, что он служил темой разговора. Все отпускали на его счет разные шуточки, как будто он был погодой, вербовочной конторой или модным предметом для сатирических упражнений. Некоторые шутки имели форму личного обращения, в таком роде: «Ну что, скоро женишься, Джордж?» или «Куда ты девал свои деньги, Джордж?» Другие высказывались в третьем лице, как например: «Старый Джордж слишком много гуляет с барышнями», или «Боюсь, что старый Джордж совсем пропадет в Лондоне».

Было ясно, что этот усиленный сатирический обстрел носил совершенно дружеский и безобидный характер. И еще яснее было, что сам Джордж ничуть не раздосадован насмешками и не удивляется своему странному положению человеческой мишени. Это был короткий человечек, на вид не то сонный, не то придурковатый. Он стоял, полузакрыв глаза и блаженно улыбаясь, как будто эта странная форма популярности

доставляла ему удовольствие. Звали его Джордж Картер. Он был местным зеленщиком. Почему именно предполагалось, что он, а не кто другой, влюблен или должен пропасть в Лондоне, никак нельзя было угадать на основании двухчасового разговора, да и не удалось бы, пожалуй, если бы слушать хоть десять лет. Он, видимо, служил магнитом, притягивавшим все витавшие в воздухе насмешки. Он даже начинал сердиться, когда внимание отвлекалось от него.

Мэррель пока что то-и-дело наведывался к прилавку и болтал с полной молодой женщиной, которая, видимо, приняла все меры, чтобы ее собственные волосы были похожи на парик. Потом он затеял с одним из соседей нескончаемый спор о том, может или не может выиграть известная лошадь при известных условиях. Разногласие касалось, повидимому, подробностей, а не основного взгляда. Спор не слишком быстро подвигался к концу, так как состоял главным образом из одних и тех же утверждений, только повторявшихся каждый раз с нарастающим упорством. Упорство обоих спорщиков равнялось их вежливости. Их спор был прерван вмешательством одного высокого тощего оборванца со свисающими усами, который наклонился над ними с благонамеренным желанием передать разрешение спора на суд мрачного Брэнтри.

— Я узнаю джентльмена с первого взгляда, — сказал длинный человек. — И я спрашиваю его, как джентльмена. Я с первого взгляда. . .

— Я не джентльмен, — оборвал синдикалист с некоторой обидой. -

Длинный человек склонился над ним с отеческим

жестом, как будто стараясь успокоить раскапризничавшего ребенка.

— Нет, не говорите так, сэр, — твердил он с отеческим видом. — Не говорите. . . Я по первому взгляду узнаю, каков коленкор, и я говорю вам. . .

Брэнтри быстро отвернулся и налетел на рослого землекопа, покрытого белой пылью. Тот извинился с отменной вежливостью и сплонул на посыпанный опилками пол.

Эта ночь была как кошмар. Джону Брэнтри она показалась бесконечной.

Мэррель по праздникам занимался тем, что бродил из бара в бар. При этом он пил совсем не так много, — меньше того, что мог бы выпить какой-нибудь герцог или дон один из своей бутылки портвейна. Выпивка служила только аккомпанементом к свету газовых рожков, к шуму, запахам и бесконечным спорам, которые с полным правом могли быть названы бесконечными, так как по самой сути своей не могли никогда кончиться.

Когда шестой трактир огласился громким криком «пора», и посетители были выставлены на улицу и ставни захлопнуты, Мэррель начал обход кофеен, гарантирующих похвальную трезвость. Он ел толстые сэндвичи, пил слабый кофе и попрежнему вел споры о лошадях и других событиях спорта. Заря занималась над холмами и бахромой фабричных труб, когда Джон Брэнтри внезапно обратился к своему другу и заговорил тоном, требующим внимания.

— Дуглас, — сказал он, — вы можете не доигрывать своей аллегории. Я знаю, что вы ловкий малый,

и теперь начинаю понимать, каким образом вашей породе людей так долго удавалось вертеть целой нацией. Но я еще не совсем идиот. Я понял, что вы хотите сказать. Вы сами не выразили этого словом, а предпочли высказать это десятками тысяч других языков. Вот ваша мысль: «Да, Джон Брэнтри, не справиться тебе с этими башками, не поладить с толпою. Ты был в гостинной и целый час говорил о Шекспире. Потом ты провел ночь на бедных улицах. Теперь скажи мне: кто из нас лучше знает народ?»

Мэррель молчал. Брэнтри начал снова:

— Это самый сильный довод, который вы могли выдвинуть против нас, и я не буду требовать новых доказательств. Я мог бы сам рассказать вам кое-что о том, как нам приходится отступать перед толпою. Вам с ней шутки шутить, а мы ее должны победить. А теперь я скажу только одно: что я отлично все понимаю и не сержусь на вас.

— Я это знаю, — ответил Мэррель. — Наш друг в трактире был неосторожен в выражениях. Но в его словах, что вы джентльмен, была доля правды. Ну, будем надеяться, что это моя последняя шутка.

Но с шутками ему так и не пришлось покончить. Ибо, возвращаясь домой через сад Сивуда, он увидел нечто такое, что заставило его вздрогнуть: библиотечная лестница оказалась прислоненной к стене сарая. Он остановился, и его добродушное лицо сделалось мрачным.

ГЛАВА VI.

МЭРРЕЛЮ ДАЮТ ПОРУЧЕНИЕ.

В голове Мэрреля понемногу проходил ночной чад. Увлечшись экспериментом по части воспитания социалистов, он совершенно забыл о своих друзьях и об их театральной затее. Теперь он вспомнил, что двадцать четыре часа назад, в такое же утро с длинными, заостренными тенями и разливающимся румянцем зари, он оставил свои декорации и бросился в библиотеку в поисках библиотекаря. Он оставил последнего на верхушке лестницы. Это было почти двадцать четыре часа назад. И вот она стоит в саду, покрытая росой, брошенная, как ненужный хлам, на котором пауки раскинули свою утреннюю серебряную паутину. Что же произошло? Он вспомнил шуточное предложение Юлиана Арчера, и на его лице показалась гримаса раздражения. Он поспешно направился к библиотеке и заглянул туда.

Сначала ему показалось, что высокая зала с бесконечными рядами книг по стенам совершенно пуста. Но вскоре он заметил в вышине — в том углу, куда библиотекарь полез за французскими книгами по средневековью — какое-то голубое, светящееся облачко. Он

увидел, что свет идет от электрической лампочки, а туман состоит из клубов табачного дыма, выпускаемых курильщиком, просидевшим, очевидно, на своем возвышенном насесте целые сутки. Тогда только он стал различать, наконец, длинные ноги мистера Микеля Херна, попрежнему свисавшие вниз с верхней полки. Повидимому, он просидел там за книгой от восхода и до восхода. К счастью, у него был при себе запас табаку. Но, конечно, не было запаса пищи. «Он умирает с голоду, — пробормотал про себя Мэррель. — Он не спал. Если бы он заснул на этом выступе, то свалился бы непременно».

Он тихонько окликнул его, как окликают ребенка, играющего на краю пропасти.

— Все в порядке, я достал лестницу, — сказал он успокоительным тоном.

Библиотекарь спокойно поглядел поверх своего фолианта.

— Вы хотите, чтобы я спустился? — спросил он.

Тут совершилось последнее чудо за эти двадцать четыре часа, полные всяких превратностей. Не дожидаясь никакой лестницы, библиотекарь быстро спустился по полкам и спрыгнул, хотя и не без труда, на пол. Правда, при этом он немного пошатнулся.

— Вы, кажется, спрашивали Гэртона Роджерса? — сказал он. — Какой интересный период!

Мэрреля трудно было испугать, но в этот момент он тоже едва не пошатнулся. Он мог только пробормотать растерянно:

— Период? Какой период?

— Да, — ответил библиотекарь, полузакрыв

глаза. — Я считаю, что самый интересный период это с 1080 по 1260 год. А вы как думаете?

— Я думаю, что до утреннего завтрака еще долго ждать, — ответил Мэррель. — Ведь вы живой человек и должны умирать от голода! Неужели вы действительно просидели там... двести лет?

— Я чувствую себя как-то странно, — ответил Херн.

— Не понимаю вашего вкуса к странностям, — возразил Мэррель. — Я вам достану чего-нибудь поесть. Прислуга еще не встала, но мой приятель, точильщик, когда-то показал мне дорогу в кладовую.

Он выбежал из залы и возвратился через пять минут с полным подносом, на котором главное место занимали бутылки пива.

— Старый английский сыр, — сказал он, ставя все на крышку вращающегося книжного шкафа. — Холодные цыплята, надо надеяться, относящиеся не ранее, чем к 1390 году. Остатки любимого Ричардом Львиное Сердце пива. *Jambon froid à la mode Troubadour*. Немедленно подкрепитесь. Уверяю вас, что еда и питье были в моде в самые лучшие периоды.

— Право, я не в состоянии выпить столько пива, — сказал библиотекарь. — Сейчас еще слишком рано.

— Наоборот, слишком поздно, — ответил Мэррель. — Я не присоединяюсь к вашей трапезе, так как только что вернулся после своего рода пира. Однако лишний глоток не сделает вреда, как говорится в старинной песне провансальских трубадуров.

— Право, — сказал Херн, — я не понимаю, что все это значит.

— Я понимаю не больше вашего. Дело в том, что я тоже не ложился всю ночь. Я был занят изысканиями. Но в области не вашего, а другого периода. Периода, построенного на основах социологии и всего прочего. Вы меня простите, если я сам немножко осовел. Я не понимаю: неужели в самом деле существует такая чертовская разница между одним периодом и другим?

— Представьте себе, — пылко воскликнул Херн, — у меня точно такое же чувство! Как интересна эта перемена, это превращение старого королевского чиновничества в наследственную аристократию. Вам не кажется, что вы читаете о трансформации Налеи после нашествия Замула?

— Несомненно кажется, — ответил Мэррель довольно безучастно. — Я надеюсь, что вы нам все расскажете о трубадурах.

— Да, но вы и ваши друзья отлично все знаете сами, — сказал библиотекарь. — Вы давно принялись за изучение этого периода. Я только немного удивляюсь, почему вы сосредоточились именно на трубадурах. На мой взгляд, труверы были бы более в вашем плане.

— Это дело вкуса, — ответил Мэррель. — Вполне естественно, если трубадур поет серенаду. Но если бы в саду оказался трувер, то это было бы не совсем прилично. Он непременно был бы арестован полицией, как злоумышленник, забравшийся с преступной целью.

Библиотекарь, казалось, был смущен.

— Сначала я думал, что трувер, это нечто в роде зея или игрока на лютне, — сказал он. — Но теперь

я пришел к заключению, что это ближе всего к пани.

— Я всегда подозревал это, — мрачно сказал Мэррель, — но я очень хотел бы выслушать на этот счет мнение Юлиана Арчера.

— Да, — скромно ответил библиотекарь. — Мистер Арчер, кажется, глубокий знаток этого вопроса.

— Я считаю его знатоком по всем вопросам, — сдержанно сказал Мэррель. — А я, как видите, во всех отношениях невежда, за исключением, пожалуй, пива, львиную долю которого я, кажется, сейчас забрал себе. Ну, мистер Херн, пейте веселее. Вы, может быть, осчастливили бы нас пением. Спойте древнюю хеттитскую заздравную песню.

— Нет уж, право, — серьезно ответил библиотекарь. — Это мне наверно не удастся. Пение не принадлежит к числу моих достижений.

— Но умение скатываться с книжных шкафов неоспоримо входит в число ваших достижений, — ответил Мэррель. — Я часто скатываюсь так с омнибусов и тому подобных приспособлений. Но вряд ли мне удалось бы сделать это лучше вас. Мне кажется, мой дорогой сэр, что в вас есть какая-то тайна. Теперь, немного подкрепившись едой и питьем, особенно питьем, вы, может быть, объясните мне одну вещь. Если вы могли спуститься в любую минуту в течение этих двадцати четырех часов, то, позвольте спросить, как вам не пришло в голову лечь спать или хотя бы позавтракать?

— Признаюсь, что я предпочел бы лестницу, — скромно ответил мистер Херн. — Я чувствовал маленькое головокружение и, пожалуй, немного боялся,

пока вы меня не подтолкнули. Я не привык лазать по стенам таким способом.

— Я хочу знать вот что. Если вы такой альпинист, то зачем вы сидели всю ночь на краю пропасти, ожидая рассвета? Я и не подозревал, что библиотекари такие легконогие горцы. Но все-таки что это значит? Почему это вы не спускались вниз? Спускались бы вниз, потому что любовь живет в долине — и напрасно было бы ждать, что она, как птица, усядется на верхушку книжного шкафа. Почему вы этого не сделали?

— Мне очень стыдно, — печально ответил ученый. — Вы говорите о любви, но, правда, это было бы с моей стороны нарушением верности. У меня было бы такое чувство, как будто я влюблен в чужую жену. Человек должен прилепиться всей душой к своему собственному предмету.

— Вы боитесь, что принцесса Паль-Уль... или как ее там... приревнует вас к Беренгарию Наваррской? — спросил Мэррель. — Вот так дьявольская история: за вами гоняется ее мумия и подстерегает вас по ночам в коридорах. Теперь понятно, почему вы боялись спуститься. Но, мне кажется, вас туда наверх влекли книги.

— Я был совершенно поглощен чтением, — сказал библиотекарь со стоном. — Я никак не думал, что восстановление цивилизации после нашествия варваров и мрачного средневековья представляет собой такую увлекательную и разностороннюю тему. Один вопрос *o seip regardant*... Как жаль, что я не занялся этим, когда был молод...

— Тогда вы наверное совершили бы какой-нибудь

отчаянный шаг, — сказал Мэррель. — Бросились бы, как сумасшедший, в изучение готического перпендикуляра или погубил бы себя ради куска старой меди или крашеного стекла. Впрочем, еще не поздно.

Мэррель устремил на собеседника испытующий взгляд, как бы в ожидании ответа. Но библиотекарь вдруг погрузился в странное молчание — точно он смотрел сквозь стеклянную дверь на сад, постепенно наполнявшийся солнечным светом, и на длинную аллею с ровной грядой ярких клумб по бокам, напоминавших бордюры средневековых иллюстраций. В конце аллеи возвышался на постаменте восемнадцатого века обломок средневекового здания.

— Я думаю о том, — сказал он, — как много смысла в словах, которые повторяются так часто: «Слишком поздно». Иногда мне кажется, что в них заключается истинная правда. Иногда — что совершенная ложь. Или все слишком поздно или ничего не поздно. Это слово стоит как будто на грани реальности и иллюзии. Каждый человек ошибается. Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А что, если ошибка в том и состоит, что человек чего-то не сделал? Разве не может быть так, что он умирает, упустив случай жить.

— Все это в сущности безразлично, — ответил Мэррель. — Такого рода вопросы интересуют людей, подобных вам, а таких, как я, только ставят в тупик.

— Да, — ответил Херн с неожиданной решимостью. — Но есть вопросы, которые в равной мере касаются и вас и меня. Представьте себе, что мы забыли лицо родного отца, занявшись откапываньем ко-

стей чужого пра-пра-деда. Или что мумия, которая преследует меня, совсем не мертва.

Мэррель продолжал с любопытством смотреть на Херна, а тот не сводил упорного взгляда с отдаленного монумента на поляне в конце аллеи.

Оливия Эшли отличалась некоторыми странностями. Ее друзья, каждый по-своему, называли ее то удивительной девушкой, то редкостной птичкой, то сказочной рыбкой. Всего страннее было то, что она продолжала «иллюстрировать», между тем как для остальных самым главным была сейчас пьеса. Она, скрючившись, сидела как ни в чем не бывало над своей микроскопической средневековой миниатюрой, в самом центре бушевавшего кругом театрального вихря. Это было то же, как если бы кто собирал маргаритки на Эпсоме, повернувшись спиной к Дерби. Между тем именно она была автором пьесы и первоначальной вдохновительницей всего предприятия.

— И как раз, когда она добилась своего, — заметила Розамунда Северн с жестом отчаяния, — она потеряла всякий интерес к делу. Мы все согласились на ее средневековую пьесу, а она от нее и зачихала! Копаются над своими полутонами, а все остальное взвалила на нас!

— Ну, ну, — сказал Мэррель, в качестве всеобщего миротворца. — Может быть, это к лучшему, что работа предоставлена вам. Вы так практичны. Настоящий мужчина.

Розамунда смягчилась и созналась, что иногда ей в самом деле хочется быть мужчиной. Несмотря на загадочность Оливии, можно было с уверенностью

сказать, что подобное желание никогда не пришло бы ей в голову.

Однако утверждение Розамунды, будто пьеса ставилась в угоду Оливии, было не совсем справедливо. На самом деле у Оливии чуть ее не вырвали. Правда, на пьесу потом было потрачено много стараний, как будто она предназначалась для публичного театра. И в конце концов путем переделок удалось добиться целого ряда великолепных выходов и уходов для мистера Юлиана Арчера.

Оливия испытывала особое чувство по отношению к этому джентльмену, уходы которого она предпочитала выходам. Она никому не говорила об этом, и меньше всего ему. Она была из числа тех женщин, которые могут ссориться только с теми, кого любят, но ни в коем случае не с теми, кого презирают. Поэтому она и замкнулась в свою скорлупу, где хранилась ее золотая краска. Когда она рисовала серебряное дерево, то ей не приходилось слышать за собой громкого голоса мистера Арчера, выражавшего сожаление, что оно не золотое. Изображая фантастическую ярко-красную рыбу, она не натыкалась на отчаянный взгляд своего лучшего друга, говорившего ей при этом: «Ведь вы знаете, дорогая моя, что я не выношу красного». Ее маленькие башни и павильоны не подвергались насмешкам практического Дугласа, даже если они имели столь же несуразный вид, как балетные дворцы. Пусть эти здания были игрушкой, но это была ее собственная игрушка, не имевшая никакой практической цели. Этот кукольный домик, где она играла с пигмеями-святыми и пигмеями-ангелами, по своей миниатюрности был не-

доступен для ее неуклюжих друзей. Оттого она, к общему недоумению, и вернулась к своей старой забаве.

Однако в это утро она не так сильно увлекалась своей забавой, как всегда. Поработав минут десять, она поднялась, чтобы взглянуть в сад. Потом с кистью в руке вышла, как автомат. Она остановилась на минуту, смотря на обломок готической постройки, у подножья которого она с Мэррелем обсуждала роковую проблему Джона Брэнтри. Потом перевела взор на двери и окна библиотеки и увидела на пороге библиотекаря с Дугласом Мэррелем.

Вид этих ранних пташек побудил ее вступить в контакт с просыпающимся миром. С какой-то внезапной решимостью, точно что-то припомнив, она направилась быстрыми шагами к библиотеке. Не заметив удивленного приветствия Мэрреля, она с забавной серьезностью обратилась к библиотекарю.

— Мистер Херн, позвольте мне, пожалуйста, взглянуть на одну книгу в библиотеке.

Херн очнулся, как от сна, и сказал:

— Простите...

— Я хотела поговорить с вами об этой книге, — сказала Оливия Эшли. — Я на-днях видела у вас в библиотеке иллюстрированную книгу, кажется, о святом Людовике. Там был удивительный красный цвет. Яркий, точно раскаленный и вместе с тем нежный, как бывает при закате. Теперь нигде нельзя достать такой краски.

— О, я этого не думаю, — непринужденно заметил Мэррель. — Уверяю вас, что теперь можно достать все, что угодно, если только знаешь, где искать.

— Вероятно, вы хотите сказать, — ответила Оли-

вия с некоторой досадой, — что теперь можно все достать, если только имеешь, чем заплатить.

— Я полагаю, что палео-хеттитского «палумона» нельзя было бы достать ни за какие деньги, — задумчиво проговорил мистер Херн.

— Я не стану утверждать, что его можно найти на выставке в окне Сельфриджа, — сказал Мэррель. — Но вы несомненно найдете какого-нибудь американского миллионера, который готов будет сделать на нем аферу.

— Ну, Дуглас, — воскликнула вдруг Оливия с воодушевлением, — я знаю, что вы любите всякие пари и тому подобное. Я покажу вам краску, о которой я говорю. Сравните ее с красками в моем ящике, а потом пойдите и купите мне сами точно такую.

ГЛАВА VII.

«ТРУБАДУР-БЛОНДЕЛЬ».

— О-о! — сказал немного смущенный Мэррель. — Хорошо. Рад служить.

Оливия Эшли влетела в библиотеку, не ожидая даже в своем нетерпении помощи библиотекаря, который продолжал смотреть в пространство невидящим, но сияющим взором. Она вытащила с одной из нижних полок громоздкий том и раскрыла его на разукрашенной странице, по которой буквы расползались, как золоченые драконы. На этой странице находилось изображение многоголового чудовища из Апокалипсиса. При всем невнимании Мэрреля к подобным вещам, даже ему показалось, что красный цвет этого чудовища сияет ярким пламенем сквозь пелену веков.

— Не хотите ли вы, чтоб я отправился на улицы Лондона охотиться за этим животным? — спросил он.

— Я хочу, чтобы вы отправились на охоту за этой краской, — сказала она. — И, так как вы говорите, что на улицах Лондона можно достать все, что угодно, то, я надеюсь, вам не придется ходить особенно далеко. На Хэй-Маркете был человек, — его имя Хэндри, — который продавал эту краску, когда я была

ребенком. Но теперь ни в одном художественном магазине я не могла найти ничего похожего на эту чудесную краску четырнадцатого века.

— Всего несколько часов тому назад, — скромно сказал Мэррель, — я преблагополучно малевал красный город, но, пожалуй, это была не та нежная краска четырнадцатого столетия. Это был красный цвет двадцатого столетия, больше похожий на галстук Брэнтри. Я, между прочим, говорил ему, что его галстук может воспламенить целый город.

— Брэнтри?! — резко сказала Оливия. — Разве мистер Брэнтри присутствовал при том, как вы писали красный город?

— Не могу сказать, чтоб он был веселым товарищем, — сказал Мэррель, как бы извиняясь. — Эти красные социалисты совсем не умеют смотреть на красное вино. Кстати, нельзя ли мне поохотиться за винами, как вы думаете? Представьте себе, что я вам принесу дюжину бутылок портвейна, несколько дюжин бургундского, несколько дюжин красного, несколько фляжек кианти, несколько боченков редкого испанского вина. Если все смешать, то, может быть, получится то, что вам нужно. Смешивая напитки и краски, можно. ...

— А что делал с вами мистер Брэнтри? — строго спросила Оливия.

— Он пополнял свое образование, — добродетельно ответил Мэррель. — Он проходил тот курс, который был назначен ему по вашей же образовательной программе. Во хотели ввести его в свет и дать ему возможность послушать то, чего он раньше никогда не

слышал. Что ж, я уверен, что таких вещей, каких он наслушался в «Свинье и Свистке», ему никогда в жизни не приходилось слышать.

— Вы отлично знаете, — возразила она довольно сердито, — что я совсем не посылала его в эти ужасные места. Я хотела познакомить его с людьми высоко развитыми, заставить его принять участие в умных разговорах. . .

— Неужели вы все еще не понимаете, дорогая моя девочка, к чему это привело бы? — спокойно ответил Мэррель. — В таких разговорах Брэнтри всех вас общелкает. Он в десять раз яснее отдает себе отчет в своих мнениях, чем большинство людей, которых вы называете интеллигентными. Он начитан так же, как они, и гораздо лучше, чем они, помнит то, что читал. У него есть критерий верного и ошибочного, который он может в любой момент применить. Его критерий может быть ложным, но он умеет его применять, и поэтому сразу получает результаты. Неужели вы не чувствуете, как мы все не уверены в себе?

— Да, — ответила она уже не так колко, — он знает, что делает и что говорит.

— Правда, он плохо знает «низшие» классы, — продолжал Мэррель. — Но нас-то он знает насквозь. Неужели вы думаете, что он почувствует себя уничтоженным перед старым Вистером? Ни в каком случае, моя дорогая Оливия. Для того чтобы ошарашить кого-нибудь, лучше всего повести его вечером в «Свинью и Свисток».

— Я не просила вас ошарашивать, — ответила

она. — И с вашей стороны было очень дурно водить его в такие мерзкие места.

— А я-то что ж? — жалобно спросил джентльмен. — А моя нравственность? Разве она совсем не интересует вас? Разве моя чувствительная душа не имеет ценности? Почему такое легкомысленное и равнодушное отношение к судьбе моего духа в «Свинье и Свистке»?

— О, — ответила она с подчеркнутым спокойствием. — Всем известна ваша недоступность подобным вещам.

— Против красного галстука я поднимаю истинно демократическое знамя красного носа и призываю от Марсельезы к мюзик-холлю! — сказал он улыбаясь. — Как вы думаете: если бы я отправился по Лондону на поиски красного носа, отвергая все розовые, пурпурные, бурые и темномалиновые, удалось бы мне в конце концов найти нос этого изысканного оттенка четырнадцатого века.

— Отыщите только краску, — возразила Оливия, — а тогда мне все равно, чей нос вы ею выкрасите. Лучше всего, если нос мистера Арчера.

Теперь является необходимость познакомить, наконец, читателя с сюжетом пьесы «Трубадур Блондель». Завязка пьесы состояла в том, что Блондель покидает даму своего сердца. Она ревнует, подозревая, что он собирается петь серенады другим дамам всяких национальностей и типов красоты. Но на самом деле он поет только политические серенады плотному, мускулистому джентльмену. Плотного, мускулистого джентльмена, иначе Ричарда Львиное Сердце, должен

был изображать современный джентльмен, отвечающий по своим внешним данным историческому описанию наружности Ричарда Львиное Сердце. Это был некий майор Трилауни, дальний родственник мисс Эшли. Он принадлежал к числу людей, которые часто встречаются в высшем свете и каким-то таинственным образом оказываются способными играть, едва умея в то же время читать и почти совсем не умея мыслить. Будучи добродушным малым, незаменимым для домашних спектаклей, он, вместе с тем, чрезвычайно небрежно относится к репетициям. Политические мотивы, побуждавшие Блонделя следовать повсюду за мускулистым джентльменом, были самого возвышенного свойства. Эти мотивы на протяжении всей пьесы даже как-то раздражали своим бескорыстием и сияли такой чистотой, что производили впечатление какой-то извращенности. По крайней мере Мэррель не мог без смеха слышать эти убийственно-бескорыстные излияния из уст мистера Юлиана Арчера. Короче говоря, Блондель исполнен преданности королю, любви к родине и желания восстановить первого ради последней. Он мечтает о том, чтобы король возвратился в свою страну, навел порядки и разоблачил интриги Джона, этого неизбежного и затасканного негодяя всех повестей о крестовых походах. В общем, это был недурной образчик любительской пьесы. Трубадур Блондель находит, наконец, замок, где скрывается его господин, и тут же в глубине австрийских лесов (что не совсем правдоподобно) собирает перед воротами компанию дам, герольдов, придворных и т. д., с целью оказать должный почет царственному пленнику. Выходит король Ри-

чард в сопровождении трубачей, занимает середину сцены и в присутствии всего своего бродячего двора с необычайно царственными жестами отрекается от престола. Он заявляет, что отныне будет не королем, а странствующим рыцарем. Правда, он уже достаточно путался во всех отношениях, но постигшая его неудача нисколько не поколебала его убеждения, что человеку свойственно странствовать. Он блуждал по центральным европейским лесам, где испытал множество приключений, пока не влип в заключение, т. е. в плен к австрийцам. Однако он находит, что странствия, несмотря на их печальный конец, были самыми счастливыми часами его жизни. Он произносит потрясающую речь о нечестивом поведении современных ему королей и принцев и об их гнусной политике. Мисс Оливия Эшли с настоящим талантом подражала напыщенным белым стихам шекспировской эпохи. И король Ричард, совершенно в стиле того времени, говорит о том, что Филиппу-Августу, королю Франции, он предпочитает общество змей и, сравнивая правителей с дикими лесными кабанами, отдает предпочтение последним. В прочувствованной речи он обращается к волкам и зимним ветрам, предлагая им у себя полный комфорт, пока ему не потребуется повидаться с каким-нибудь из родственников или недавних политических советчиков. Монолог кончается рифмованным куплетом в шекспировском стиле. Ричард отрекается от короны, вынимает меч и уходит направо, что вызывает естественное неудовольствие со стороны Блонделя, который пожертвовал личным счастьем ради общественного долга, между тем как этот общественный долг покидает

сцену в поисках личного счастья. Своевременное, но мало правдоподобное появление в глубине тех же лесов Беренгарии Наваррской снова возвращает Блонделю равновесие духа. И если кто знает законы романтической драмы, то ему едва ли нужно рассказывать о том, как примирение короля с оказавшейся тут же королевой послужило сигналом к немедленному, но вполне удовлетворительному примирению Блонделя с дамой его сердца. Австрийский лес наполняется надлежащим настроением при помощи тихой музыки и вечернего освещения, у рампы собираются соответствующие группы, а партер мчится за шляпками и зонтиками.

Такова была пьеса «Трубадур Блондель», недурной образчик старомодной романтики, весьма популярной до войны и не забытой до сих пор благодаря ее совершенно реальным отражениям в жизни.

Только двое из участников пьесы оставались в стороне от общих занятий и предавались другим увлечениям. Оливия Эшли продолжала корпеть над иллюстрированными требниками из библиотеки. А Микель Херн поглощал том за томом по истории, философии, теологии, этике и экономике четырех столетий средневековья, стараясь таким образом подготовиться к произнесению пятнадцати белых стихов, определенных мисс Эшли второму трубадуру.

Однако Арчер проявил в своей сфере такое же усердие, как Херн. Так как они были двумя трубадурами, то им часто приходилось сидеть бок-о-бок, изучая свои роли.

— Мне кажется, — сказал однажды Юлиан Арчер, отбрасывая рукопись, которая помогала ему освежать

в памяти слова роли, — что в этом Блонделе есть какая-то фальшь. Я должен вложить в него побольше страсти.

— Конечно, в этом провансальском этикете было что-то чрезвычайно абстрактное и на первый взгляд неестественное, — согласился второй трубадур, иначе мистер Херн. — Любовный культ, несомненно, заключал в себе элемент педантизма, своего рода крючкотворства. Иногда не придавали значения даже тому, видел ли кавалер свою даму или нет. Так было с Руделем и принцессой Триполи. С другой стороны, это был как бы учтивый поклон, открытое поклонение вассала жене своего сюзерена. Однако я думаю, что на ряду с этим существовала и настоящая страсть.

— Но ее не хватает в мисс Эшли и ее трубадуре, — сказал разочарованный любитель. — Одни рассуждения и вообще сплошная чушь. Я не верю, чтобы он в конце концов мог жениться.

— Вы думаете, что он был заражен альбигойскими доктринами? — серьезно и с неожиданным жаром спросил библиотекарь. — Действительно, гнездо этой ереси находилось на юге, и очень возможно, что множество трубадуров было захвачено подобными философскими движениями.

— Его движения, действительно, слишком философские, — сказал Арчер. — Я предпочел бы, однако, любить женщину на сцене без всякой философии. Как будто ей может нравиться, что он виляет туда и сюда, вместо того чтобы прямо приступить к делу.

— Отрицание брака было, кажется, самым существенным пунктом в этой ереси, — сказал Херн. —

Я заметил, что в хрониках, когда речь идет о перешедших в католичество после похода Монфора и Доминика, часто повторяется фраза: *iit in matrimonium*. Еретики считали свою плоть унижением для духа — в ее самых приятных, естественных проявлениях. Однако в стихах, которые мисс Эшли поручила мне, это выражено недостаточно ясно. Может быть, ваша роль несколько яснее в отношении этого пункта.

— Ну, мне долго пришлось бы добираться до этого пункта, — ответил Арчер. — Моя роль не дает романтическому актеру ни малейшего простора.

— К сожалению, я ровно ничего не знаю о различных школах игры, — печально сказал библиотекарь. — Как хорошо, что мне поручено только несколько стихов.

Он замолк. А Юлиан Арчер, бросив несколько слов о том, что на спектакле все сойдет прекрасно, посмотрел на него с рассеянным сожалением. Несмотря на всю свою практическую сноровку, он совсем не замечал неуловимых изменений в социальной атмосфере. И на библиотекаря он все еще смотрел как на чудачьего слугу, существующего только для того, чтобы докладывать, когда нужно: «Ваша светлость, лошади поданы». Интересуясь только своими ощущениями, он не слушал того, что говорил ему о своих излюбленных старых книгах библиотекарь, и даже не замечал, что тот все еще продолжает свою речь.

— Эта возвышенная, отвлеченная любовь, мне кажется, может дать огромный простор именно для романтического актера, — говорил задумчиво мистер Херн. — Был некогда танец, выражавший аскетическое

осуждение плоти. Он проходит красной нитью через множество азиатских арабесок. Это танец альбигойских трубадуров — танец смерти. Дух может проявлять отрицание плоти двояко: умерщвляя ее, как факир, или пресыщая, как султан. И, конечно, для вас было бы крайне интересно показать это горькое наслаждение, эти дикие вопли языческого ликования, под которым скрывается безнадежный пессимизм.

— Я и так испытываю пессимизм, — ответил Арчер, — когда Трилауни не является на репетиции, а Оливия Эшли хлопчет только о своих красках.

При последних словах он поспешно понизил голос, внезапно заметив, что Оливия Эшли сидит в другом конце библиотеки, склонившись над книгой. Она, по-видимому, не слышала его слов. Во всяком случае не обернулась. И Юлиан Арчер продолжал ворчать:

— Вы, как кажется, не совсем ясно представляете себе, чем можно захватить зрителя, — сказал он. — А птица сама не дается в руки...

— Птица? — с недоумением переспросил мистер Херн.

— Само собой, в гостиной лорда Сивуда не станут свистать и бросать тухлыми яйцами, — продолжал Арчер. — Но и без того чувствуется, захвачен зрительный зал или нет. Вы это поймете, когда у вас будет такой же опыт, как у меня. И, если она не вложит побольше перца в мой диалог, то я сомневаюсь, смогу ли я захватить публику.

Мистер Херн раздваивался: одной половиной сознания он вежливо слушал, тогда как другая была занята созерцанием зрелища, открывавшегося в саду.

В конце аллеи, на фоне травы и деревьев, он увидел освещенную солнцем фигуру принцессы из пьесы. Розамунда была в своем пышном голубом платье и сказочном головном уборе. Показавшись из-за поворота, она сделала какой-то решительный жест и, как бы потягиваясь, заломила руки. Длинные остроконечные рукава походили на быющиеся крылья той птицы, о которой говорил Арчер. В голове библиотекаря прозвучала мысль, что это должно быть и есть та самая птица, которая не дается в руки.

Когда голубая фигура принцессы приблизилась, то даже полусонному библиотекарю стало ясно, что этот жест относился к чему-то. Судя по выражению лица, можно было предположить, что это был жест не то досады, не то испуга.

— Милое положение, нечего сказать! — начала она возмущенно, показывая распечатанную телеграмму. — Гуго Трилауни сообщает, что он не может играть короля.

Юлиан Арчер иногда проявлял быстроту соображения. Он тоже был огорчен. Но не успела Розамунда снова возвысить голос, как он уж взвесил возможность самому взять роль и выучить строки, предназначенные королю. Это было трудно, но он никогда не отступал перед трудностями, если только дело того стоило. Самая большая трудность заключалась в том, чтобы найти нового трубадура.

Никто еще не успел заглянуть в будущее, а мысль все еще кружилась, как птица, над строками изменника Трилауни.

— Придется все бросить! — сказала Розамунда.

— Нет, на вашем месте я бы этого не сделал, — сказал Арчер успокоительно. — Это было бы глупо после того, как мы потратили столько сил.

И он, ни с того ни с сего, бросил взгляд в другой конец залы, где темная головка мисс Эшли попрежнему упрямо склонялась над иллюстрациями. Она давно уже перестала интересоваться спектаклем. Иногда она исчезала куда-то надолго, — должно быть, отправлялась гулять, но место прогулок оставалось для всех тайной.

— Я три дня подряд вставал в шесть часов, — сказал Арчер в доказательство своего прилежания.

— Но как же нам без него обойтись? — с отчаянием спросила Розамунда. — Кто еще может играть короля? У нас достаточно было хлопот и со вторым трубадуром, пока мистер Херн не был так любезен, что выручил нас.

— Беда в том, — сказал Арчер, — что, если я возьму себе короля, у вас не будет Блонделя.

— Ну, так надо все бросить! — сказала Розамунда рассердившись.

Наступило молчание. Все стояли, смотря друг на друга. Потом вдруг разом обернулись к противоположной стороне залы, откуда раздался неожиданный голос.

Оливия Эшли неожиданно бросила кисть, с таким видом, точно она хочет что-то сказать. Все даже вздрогнули от этого внезапного вмешательства.

— Да, придется все бросить, — сказала она, — если мистер Херн не согласится играть короля. Он единственный человек, который относится к делу серьезно.

- Как это? — послышалось восклицание мистера Херна.

— Я не знаю, о чем вы все думаете? — продолжала Оливия с горечью. — Вы превратили пьесу в какую-то комическую оперу. Я мало во всем этом понимаю и боюсь, что не сумею объяснить, как надо — объясню хуже, чем даже в старой песне. Как это: «Когда-то он вернется?..» или нет: «Вернется ль он домой?..»

— Это, кажется, песни яacobинские, — любезно сказал Арчер. — Маленькая путаница в периодах, а?

— Я совсем не знаю, какой там король должен вернуться, — твердо ответила Оливия. — Король Артур, Ричард, Карл или еще какой-нибудь другой. Но мистер Херн знает, что тогда подразумевалось под словом «король». Право, я бы очень хотела, чтобы мистер Херн был королем Англии.

Мистер Юлиан Арчер громко хохотал, задрав голову. Но в его смехе было что-то преувеличенное и неестественное. Таким смехом люди когда-то встречали пророчества.

— Позвольте, — запротестовала более практичная Розамунда, — пусть даже мистер Херн играет короля, но кто тогда возьмет его роль, с которой у нас было столько хлопот?

Оливия Эшли отвернулась и принялась приводить в порядок свои краски.

— О, — сказала она отрывисто. — Я могла бы это устроить. Один мой приятель взял бы ее с вашего разрешения.

Все обратили на нее удивленный взгляд, а Розамунда сказала:

— Не лучше ли нам посоветоваться с Обезьяной? Он знает такую кучу народа.

— К сожалению, — ответила Оливия, продолжая чистить ящик с красками, — я послала его по моему личному делу. Он был так любезен, что вызвался отыскать нужную мне краску.

Действительно, Дуглас Мэррель отправился в экспедицию, которая имела самое удивительное влияние на их судьбу. Оливия Эшли попросту поручила ему достать в художественном магазине специальный пигмент. Но Дуглас отличался веселой страстью бакалавра к приключениям и особенно к предварительным приготовлениям. Подобно тому как он двинулся в ночной поход с мистером Брэнтри, предвидя, что ночь будет бесконечной, так и теперь, отправляясь по поручению мисс Эшли, он был уверен, что оно приведет его на конец света. В известном смысле, оно и привело его на конец нашего света или, может быть, к началу другого. Он взял в банке основательную сумму денег, набил карманы табаком, фляжками с вином и перочинными ножиками, — словом, снаряжился так, как будто отправлялся на северный полюс. Взрослые люди часто тешатся ребяческими играми. Поэтому он и делал такие приготовления, точно на улицах Лондона ему предстояло встретиться по меньшей мере с людоедами или драконами.

И действительно: едва он вышел за ворота, как тотчас натолкнулся на чудо или даже на чудовище. Кто-то вступал во владения Сивуда как раз в тот момент, когда он их покидал. Фигура была странно знакома, но вместе с тем в ней было что-то чужое. Мэррель

всячески противился впечатлению сходства, но в конце концов должен был признать потрясающую истину. Это был не кто иной, как Джон Брэнтри. Он сбрил себе бороду.

ГЛАВА VIII.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ.

Мэррель остановился, всматриваясь в фигуру Брэнтри, темневшую на фоне веселого пейзажа. В голове его закопошились самые мрачные предчувствия. Никакая черная кошка не была бы таким суровым предзнаменованием для его путешествия, как это странное появление бритого социалиста.

Брэнтри смотрел на него вызывающе, почти враждебно, вопреки их давнишнему взаимному расположению. Он больше не мог выставлять свою бороду, но зато выставил подбородок, как бы стараясь придать ему такую же апрессивность, какую имела его борода.

Но Мэррель радостно воскликнул:

— Вы идете выручать нас?

У него хватило такта, чтобы не сказать: «Ага, вы все-таки идете выручать нас!» Однако он уже понимал, в чем дело. Он сообразил, что означали прогулки Оливии Эшли и ее рассеянность. Очевидно, ее шуточный социальный эксперимент привел к кризису.

Бедный Брэнтри, ослабевший после трактирного эксперимента, был взят врасплох. Пока он чувствовал себя идущим во главе пролетариата на штурм дворца,

он мог держаться независимо по отношению к ней и ее аристократам. Но с той ночи, когда Мэррель заронил в него семя сомнений и поколебал прочность его демократических убеждений, он сразу превратился в мнительного, болезненно-подозрительного субъекта, неспособного противостоять обаянию грациозных манер и деликатной любезности. Мэррель понял все, за исключением, может быть, того результата, к которому все это должно было привести. Своего понимания он, однако, не выдал ни малейшим оттенком голоса.

— Да, — неловко ответил Брэнтри. — Мисс Эшли сказала мне, что надо выручить. Удивляюсь, почему вы не пришли на помощь.

— Я плохой помощник, — ответил Мэррель. — С самого начала я заявил, что если меня и дразнят, называя директором театра, то во всяком случае я не дойду до такого падения, чтобы быть директором труппы. С тех пор директорство принял на себя Юлиан Арчер. К тому же мисс Эшли дала мне другое поручение.

— В самом деле, — сказал Брэнтри, — у вас такой вид, как будто вы отправляетесь искать счастья на золотых россыпях.

И он с удивлением осматривал снаряжение своего друга, у которого за спиной висел ранец, а в руках была внушительного вида палка и кожаный футляр, повидимому, вмещавший в себе нож.

— Да, — ответил Мэррель, — я вооружен до зубов. Я еду в действующую армию: на фронт. — После маленькой паузы он добавил: — По правде сказать, я отправляюсь за покупками.

— Вот тебе на! — сказал удивленный Брэнтри.

— Передайте привет моим друзьям, старичина! — сказал Мэррель с чувством. — Если я погибну в атаке, скажите им, что моя последняя мысль была о Юлиане Арчере. Положите маленький камушек на том месте, где я паду славной смертью, и вспомните обо мне, когда снова придет весна со своими цветами и птичками. Прощайте! Желаю вам счастья!

И, сделав жест благословения своей внушительной палкой, он отправился в путь через парк, оставив у ворот Джона Брэнтри, с недоумением смотревшего ему вслед.

Весенние птички, о которых он только-что упомянул, действительно, в эту минуту заливались на ветках деревьев. Листья казались взъерошенными перьями. Было то время года, когда кажется, что у мира вырастают крылья. Деревья как будто становятся на цыпочки, готовясь взлететь. Какие-то детские воспоминания пробудились в душе Мэрреля. Он вообразил себя принцем, а свою неуклюжую палку — мечом. Но тут же вспомнил, что его путь лежит не в леса и долины, а в городской лабиринт, наполненный народом, и его добродушное лицо исказилось иронической гримасой.

Прежде всего он направился в тот промышленный город, где он производил с Брэнтри свой знаменитый обход. Но теперь он не чувствовал никакой охоты к кутежам, будучи проникнут коммерческими соображениями, достойными холодного и трезвого утреннего света. «Дело есть дело, — говорил он сурово. — Теперь я деловой человек, и должен смотреть на вещи с чисто практической точки зрения. Я понимаю дело-

вых людей, которые каждый день перед завтраком обрывают себя резкой фразой: «Дело есть дело». Этим сказано все, хотя это и звучит тавтологией».

Он приблизился к некоей вавилонской башне, на которой золотыми буквами, размером в целые окна, была изображена надпись: «Центральные склады». Он с намерением пошел именно к этому зданию, хотя все равно его нельзя было миновать, так как оно занимало весь Хай-Стрит и добрую часть соседней улицы. Внутри была толпа пытавшихся выйти, а снаружи — толпа пытавшихся войти, но, видимо, принужденных оставить свои честолюбивые замыслы и удовлетвориться созерцанием витрин.

В толчее магазина он то-и-дело наткнулся на упитанных, чрезвычайно любезных господ, которые изящно делали ему ручкой. В ответ на эти любезные приветствия, он испытывал страстное желание хватить их палкой по голове. Но сдерживался, чувствуя, что такая прелюдия к его приключениям может привести их к преждевременному концу. Со сдержанным бешенством он повторял каждому из этих вылощенных господ название нужного ему отдела. Они повторяли в свою очередь это название, указывали направление, и он шел дальше, скрежеща зубами. Повидимому, все были уверены в существовании отдела, специально посвященного художникам. Но никто не мог сообщить, сколько времени при современном состоянии цивилизации требуется ходить, чтобы добраться, наконец, до названного отдела.

Мэррель видел колоссальные колодцы лифтов. Давка несколько ослаблялась тем, что одна часть

публики проваливалась под пол, а другая взлетала в потолок. Судьба судила ему, как некогда Энею, спуститься в преисподнюю. Здесь началось новое нескончаемое хождение, только осложненное приятным сознанием, что находишься глубоко под улицей, как будто в запутанном лабиринте угольной шахты.

«Это, однако, удобно! — весело думал он. — Вместо того чтобы бегать на открытом воздухе из одной лавки в другую, можно прямо пойти в магазин, где найдешь все, что нужно».

Дубина и большой нож оказались совершенно неподходящим оружием для первой атаки. В сущности, это хождение совсем не причиняло ему таких неприятностей, каких он ожидал раньше. Ему приходилось бегать по таким коридорам в поисках галстуков франтовского цвета. Он охотно брался за всякие поручения. Ему поручали заботу о чужих собаках. В комнатах его валялись сундуки и саквояжи, которые Билль или Чарльз должны были захватить по пути из Месопотамии в Нью-Йорк. Ему охотно доверяли багаж, и так же охотно доверили бы ребенка. Однако нужно сказать, что при этом он не только не терял чувства собственного достоинства, которое заложено было в нем глубоко и прочно, но даже не терял свободы. Он сохранял такой вид, как будто делает все это по собственному желанию. Может быть, как многие полагали, так оно и было на самом деле. У него было особое умение всякое дело превращать в приключение. Так он поступил и с маленьким, но серьезным поручением мисс Эшли. Он с легкостью соглашался играть роль всеобщего помощника, потому что она шла

к нему. Его некрасивое, но приятное лицо, его общительность и склонность к дружеским отношениям — все это располагало к тому, чтобы обращаться к нему с просьбами.

Он неспеша вынул из бумажника кусок старой, твердой, как пергамент, бумаги. Бумага потемнела от старости или от пыли и на ней тонкой, но отчетливой линией был очерчен контур птичьего крыла. Должно быть, это был эскиз крыльев ангела. Несколько перьев были намечены штрихами красного цвета, который горел ярким пламенем на блеклой, пыльной бумаге.

Надо было понимать, что значил для Оливии Эшли этот клочок бумаги с нацарапанным на нем незаконченным рисунком, чтобы оценить, какое важное дело было доверено Мэррелю. Этот рисунок был сделан в те времена, когда она жила с отцом. Своему отцу она была обязана тем, что с раннего детства воспринимала вещи в красках. То, что у большинства приобретает образованием, было ее достоянием еще до того, как она поступила в школу. Характер очертаний и цвета — все это в ее глазах было символом минувших веков. Именно это пыталась она выразить неловкими словами, когда восставала против политических реформ. Самые близкие ее друзья были бы в недоумении, если бы узнали, что у нее захватывает дух от одной мысли о каком-нибудь волнистом серебряном бордюре с зеленым отливом павлиньего пера на загибах — так же, как у других захватывает дух при воспоминании о потерянной любви.

Вместе с этим обрывком бумаги Мэррель вынул из бумажника лоскуток свежей бумаги, на котором было

написано: «Старинные иллюстрационные краски Хэндри. Его магазин был в Хай-Маркете пятнадцать лет тому назад. Краска продавалась в маленьких, круглых стеклянных баночках. Ю. А. думает, что теперь это можно найти скорее в провинциальном городе, чем в Лондоне».

Вооруженный этими орудиями атаки, он протиснулся к прилавку, заваленному художественными принадлежностями. Он оказался между толстым, кротким господином, который играл роль буфера, и нетерпеливой, сердитой дамой. Старый буфер был очень медлителен, а дама, наоборот, очень быстра. Стоявшая за прилавком молодая женщина, повидимому, была чем-то раздосадована. Она бросала на кого-то свирепые взгляды через плечо, между тем как ее руки двигались во всех направлениях, услуживая покупателям. Отрывистые, раздраженные реплики, вылетающие из ее рта, относились еще к кому-то третьему, должно быть, находившемуся за перегородкой.

— Никогда ничего не бывает во-время, — шептал про себя Мэррель. — Ну, разве можно в этой обстановке рассказывать о раннем детстве Оливии, о ее мечтах об огненном херувиме или влиянии отца на ее развитие? Иначе никак не объяснить, почему это так важно и требует особого внимания. Говоря с Оливией, я знаю, что для нее верная или неверная краска все равно, что правда и неправда. Тусклый оттенок красного для нее все равно, что тень, падающая на чью-нибудь честь, или не совсем правдивые слова. А эта девица, я уверен, должна каждый вечер благодарить небо, что она не продала шести мольбертов,

вместо пяти альбомов, и не выплеснула все индийские чернила на покупателя, который спрашивал терпентин.

Он решил свести все объяснения к самому простому вопросу — с тем, чтобы развернуть их потом, если дело не лопнет с самого начала. Крепко зажав в руке обрывок бумаги, он обратил на продавщицу взгляд укротителя львов и спросил:

— Есть у вас старинные иллюстрационные краски Хэндри?

Девушка несколько секунд смотрела на него с таким выражением, как будто он заговорил с ней по-русски или по-китайски. На время она даже забыла механические вежливые реплики, которыми принято обмениваться с покупателем. Она не попросила извинения, а только процедила: «Э?»

Путь современного романиста, если он хочет быть честным, отличается жесткостью. Или, что еще хуже, он мягок, так как ему приходится утопать в рыхлом песке, вместо того чтобы перепрыгивать с утеса на утес, от кризиса к кризису, минуя мелкие подробности. Ему нельзя полететь на крыльях голубя и потом отдохнуть на каком-нибудь спокойном рассказе об убийствах, кораблекрушениях, революциях и всемирных пожарах. Он обречен путаться по пыльной дороге событий. И прежде чем вступить в рай кровопролитных катастроф, ему нужно пройти все чистилища закона и порядка. Реализм скучен. Именно это подразумевается, когда говорят, что только реализм правдиво изображает нашу живущую интенсивной, интеллектуальной жизнью современность. Так, напри-

мер, только масса мелких подробностей дала бы читателям правильное представление о беседе между мистером Дугласом Мэррелем и молодой женщиной, продававшей или не продававшей ему краски. Чтобы добиться от читателя нужной психологической реакции, пришлось бы десять раз под ряд в тех же выражениях перепечатать вопрос мистера Мэрреля, пока страница не стала бы похожа на рисунок. Еще пространнее оказалось бы описание всех фаз, через какие проходило удивленное лицо продавщицы, или всех словесных вариаций, в каких она предъявляла свои возражения. Разве можно в беглом очерке изобразить, как расправляется с трудными проблемами Великая Деловитость? Разве можно в двух словах изложить, как она ответила, что у них есть иллюстрационные краски, и вынула ящик акварелей стоимостью в шиллинг? Как она сказала затем, что у них нет иллюстрационных красок, и стала настаивать, что ничего подобного вообще не существует в природе. Что эти краски — лихорадочный бред разгоряченного воображения. Как она уговаривала взять пастели, уверяя, что это то же самое. Как она заметила равнодушным тоном, что теперь очень идут некоторые сорта зеленых и красных чернил. Как она спросила, не для детей ли покупает он краски, и сделала слабую попытку сбыть его в отдел игрушек. Как, наконец, она впала в кислый агностицизм и даже приняла достойный вид, который странным образом вызвал у нее припадок насморка и однообразные ответы «не знаю» на все предлагаемые ей вопросы. Для того чтобы мотивировать последующую реакцию данного покупателя, пришлось

бы описывать все перипетии, которые заняли бы столько же места, сколько они заняли времени. Покупатель почувствовал прилив негодования против нелепого порядка вещей, и его мелодрама нашла себе исход в насмешке. Он перегнулся через прилавок и заговорил почти издевательским тоном:

— Где Хэндри? Что вы сделали с нашим старым знакомым Хэндри? Не изворачивайтесь: ваши увертки не помогут. Имя Хэндри названо. К чему же это мрачное, красноречивое замалчивание? Зачем вы переводите разговор на пастели и воздвигаете баррикады из грошовых кусочков мела и оловянных ящичков с красками? Зачем вы суете мне красные чернила, точно ржавую селедку. Что случилось с Хэндри? Куда вы спрятали его?

Он чуть не добавил тихим, шипящим голосом: «или то, что от него осталось», но добрая половина его души одержала победу. Им овладело чувство стыда. Он остановился на полуслове, помолчал и потом прибег к другому методу для достижения своей цели. Поспешно сунув руку в боковой карман, он вытащил оттуда свою визитную карточку и спросил вежливо, почти что умиленным тоном, может ли он видеть заведующего отделом. Протянув карточку продавщице, он через минуту уже пожалел и об этом.

У мистера Мэрреля была одна слабая струнка, задев которую можно было вывести его из равновесия. Вот именно такой атаки он и боялся. Ему противно было пользоваться случайными привилегиями своего социального положения. Вообще он как будто игнорировал его, но прирожденный аристократизм сказывался

у него именно в этом игнорировании. Аристократическое сознание боролось в нем с присущим всем мужчинам инстинктивным желанием равенства. Одно напоминание о его социальном положении приводило его в смущение, и, протянув карточку, он тут же вспомнил, что она давала на этот счет определенные указания: название аристократического клуба и титул. Хуже того, она определенно гипнотизировала людей. Девушка отнесла ее к сидевшей за высокой перегородкой таинственной особе, к которой недавно обращала свои сердитые реплики. «Особа» изучила карточку, и Мэррель, наконец, был введен в ее кабинет.

— Удивительное у вас учреждение! — сказал он весело. — А все организация, организация. Если пустить в ход все винтики, то вы можете сравняться с мировыми фирмами!

Заведующий, несмотря на всю свою проницательность, легко поддавался лести, и тут же заявил, что их фирма и так пользуется всемирной известностью.

— Некто Хэндри, о котором я справляюсь, — сказал Мэррель, — был очень замечательный человек. Я не знал его лично, но, по словам моей приятельницы, мисс Эшли, он был другом ее отца и когда-то работал вместе с Вильямом Моррисом. Он был глубоким знатоком как научной, так и художественной стороны своего дела. Прежде чем специализоваться на разработке пигментов для репродукции средневековой живописи, он был, кажется, доктором химии. На Хай-Маркете он держал маленькую лавочку, которую посещала вся артистическая публика. Он был знаком чуть ли не со всеми выдающимися людьми своего времени,

а с некоторыми из них очень близко. Теперь, я думаю, вам ясно, что подобный владелец магазина не может исчезнуть совершенно бесследно. Считаете ли вы возможным где-нибудь разыскать его или, по крайней мере, его товар.

— Да, — ответил тот с расстановкой. — Он, вероятно, где-нибудь служит. Может быть, в какой-нибудь из крупных фирм или даже на наших фабриках.

— А, — сказал Мэррель и погрузился в задумчивое молчание.

Потом вдруг сказал:

— Действительно, в наши дни нелегко разыскать какого-нибудь мелкого эсквайра или провинциального джентльмена. Но в конце концов его находят среди прислуги какого-нибудь герцога, в виде лакея или буфетчика.

— О да, но это не совсем то, — смущенно сказал заведующий. Он не знал, должен ли он смеяться или нет.

Он прошел в соседнюю комнату, чтобы справиться в адрес-календарях. Посетитель остался под впечатлением, что он ищет на букву «Х» имя Хэндри. Но на самом деле он искал на букву «М» имя Мэррель. Это расследование сильнее расположило его в пользу последнего, и он погрузился в тщательное рассмотрение списков служащих, стал звонить по телефону, запросил начальников других отделов и, наконец, после длительной даровой работы, напал на нужные следы. Надо отдать ему справедливость, он проявил при этом бесстрашную энергию сыщика по сенсационному делу. По прошествии значительного времени он вернулся к

Мэррелю, широко улыбаясь и торжествующе потирая руки.

— Вы были правы, отдавая должное нашей организации, мистер Мэррель, — сказал заведующий с сияющим лицом. — Она, действительно, достойна похвалы.

— Надеюсь, что я своей просьбой не внес дезорганизации, — сказал Мэррель. — Мой вопрос не принадлежал к числу обычных. Должно быть, к вам редко являются покупатели с требованием продать им умерших прерафаэлитов. Здесь не место для болтовни, и к вам нельзя приходить ради того, чтобы рассказать о знакомстве с другом Вильяма Морриса. Прошу извинить за причиненное беспокойство.

— Уверяю вас, мы только очень рады, что наша система произвела на вас приятное впечатление, — любезно сказал заведующий. — Я могу дать вам кое-какие справки относительно этого Хэндри. Повидимому, он одно время работал у нас в отделе, но работал недолго. Кажется, он был очень старателен и обладал кое-какими познаниями. Но кончился этот эксперимент не очень удачно. Он был немного помешанный, жаловался на головные боли и тому подобное. В один прекрасный день он схватил заведующего отделом и швырнул его на картину, стоявшую на мольберте. Я не мог выяснить, посадили ли его в тюрьму или отправили в больницу, что было бы вполне естественно. Могу вам только сказать, что у нас есть подробные сведения относительно образа жизни всех наших служащих, доставляемые полицией. Я думаю, что он попросту убежал. Во всяком случае, у нас он больше

не получит работы. Помогать таким людям не имеет смысла.

— Вы не знаете, где он живет? — мрачно спросил Мэррель.

— Нет. Кажется, причина недоразумения в том и заключалась, что большинство наших служащих тогда здесь и жили, — ответил заведующий. — Говорят, он ходил завтракать в кабачок «Пятнистой Собаки». Уж это одно не говорит в его пользу. Ну, а мы предпочитаем, чтобы наши служащие столовались в приличных ресторанах, устроенных для этой цели. Должно быть, все дело было в пьянстве. Такие люди никогда не выправляются.

— Не представляю себе, что же случилось с его иллюстрационными красками? — сказал Мэррель.

— О, с того времени техника значительно ушла вперед, — сказал тот. — Очень рад был бы услужить вам, мистер Мэррель. Надеюсь, вы не подумаете, что я навязываю свой товар, но фактически вы не найдете ничего лучше, чем продающийся у нас королевский иллюстратор. Он вытеснил все прочие сорта. Вы встретите его повсюду. Этот комплект гораздо полнее и лучше всех прежних.

Он подошел к одному из выдвижных ящичков, вынул оттуда несколько напечатанных в красках реклам и с напускной небрежностью протянул их Мэррелю. Тот взглянул на них и поднял брови от изумления. На проспекте стояло имя модного фабриканта, с которым Брэнтри спорил в гостиной, а на главном месте фигурировала большая фотография мистера Альмерика Вистера как художественного эксперта. Тут же кра-

совалась его подпись под заявлением, что только эти краски могут удовлетворить истинного ценителя искусства.

— Как же, я знаю его, — сказал Мэррель. — Он всегда говорит о великих предшественниках. Не знает ли он чего-нибудь и о друзьях этих предшественников?

— Могу дать вам немедленную справку, — сказал заведующий.

— Благодарю вас, — сказал Мэррель, как бы замечтавшись, — но я удовольствуюсь постелью для детей, которую мне предложила эта милая барышня.

Он с серьезным видом направился к прилавку и торжественно совершил покупку постелей.

— Чем могу еще служить? — с беспокойством спросил заведующий.

— Ничем, — необыкновенно мрачно сказал Мэррель. — Я вполне понимаю, что вы ничего не можете поделать. Чорт возьми, может быть, тут действительно ничего нельзя поделать.

— Простите? . .

— У меня начинается головная боль, — сказал Мэррель. — Эта боль наследственная. Она наступает периодически и приводит к ужасным последствиям. Я бы не хотел повторения той ужасной сцены. . . Кругом мольберты. . . Благодарю вас. До свидания.

И он направился к «Пятнистой Собаке», которая была ему хорошо знакома. В этом старинном заведении ему неожиданно повезло. Он навел разговор на соблазнительную тему о разбитых стаканах, исходя из предположения, что, если такой человек, как Хэндри, часто посещал это заведение, то он должен

был рано или поздно что-нибудь разбить. Его встретили приветливо. Его непринужденная беседа создала приятную атмосферу, в которой легко расцветают воспоминания. Молодая леди за прилавком помнила джентльмена, который разбил стакан. Трактирщик прибавил новые подробности, так как ему пришлось поспорить о стоимости разбитого стакана. В результате общих усилий возник туманный образ человека в рваной одежде, с растрепанными волосами и длинными, подвижными пальцами.

— Вы не помните, — как бы между прочим спросил Мэррель, — мистер Хэндри не говорил, куда он собирается ехать?

— Он всегда называл себя доктором Хэндри, — медленно сказал трактирщик. — Не знаю, почему: разве только потому, что в его красках была замешана какая-то химия. Однако он хвастал, что он настоящий доктор из больницы. Но будь я проклят, если бы я позволил ему лечить себя. Он отравил бы меня своими красками.

— Конечно, по несчастной случайности? — мягко спросил Мэррель.

— Пожалуй, что так, — очень медленно согласился трактирщик. И потом добавил рассудительным тоном: — Но ведь вы одинаково не захотели бы быть отравленным — случайно или намеренно?

— Правильно, — ответил Мэррель, — откровенно признаюсь, что не захотел бы. Однако куда же девались его ядовитые краски?

Тут вмешалась трактирная служанка и сообщила, что она точно помнит, как доктор Хэндри называл

один из забытых морских курортов. Она даже припомнила название улицы.

Вооруженный этими сведениями, отважный путешественник решил без замедления приступить к дальнейшим поискам. Он оборвал разговор, превратившийся в обычную болтовню, и пошел по дороге, которая вела к берегу.

Перед этим он, однако, сделал три визита: один в банк, другой к одному дельцу, третий — к своему поверенному. Отовсюду он выходил с мрачным видом.

День спустя, он стоял на верхней улице приморского города, круто спускавшегося к морю. Ряды серых крыш располагались, как круги водоворота. Море, казалось, всасывало в себя этот сумрачный город. Он жил мечтой о самоубийстве. Так погибающий человек чувствует смывающую его волну жизни.

Мэррель остановился там, где дорога как будто обрывалась вниз, в молчаливый водоворот города. Ряды крыш подымались, как волны, на уступах земли, так что местами трубы одной улицы приходились вровень с решетками и тротуаром другой. Все это производило такое впечатление, точно весь город опускается в море. Подъемы и спуски окружающего зеленого пейзажа не вызывали того чувства, как эти расположенные друг над другом прямые, прозаические улицы, неуклонно стремящиеся вниз. Если бы местность кругом была более живописной, то она казалась бы пошлой. Если бы коттеджи были окрашены в разные цвета, то город имел бы вид хорошенькой театральной декора-

ции. Но дома были одинаково серые. Крыши тускло блестя, как будто здесь всегда шел дождь. Соединение этой тусклой одноцветности с чистой линией горизонта вызывало ощущение бреда. Этот морской город как будто страдал морской болезнью, и Мэррель сам почувствовал прилив головокружения.

ГЛАВА IX.
ТАЙНА КЭБА.

Позади расходившихся спиралью крыш находилось море. Город, казалось, корчился в предсмертных муках, и море явилось полюбоваться на его смерть.

Мэррель взглянул вверх и прочел название улицы. Название было то самое, которое было дано ему как руководящая нить в поисках нужного человека.

Смотря вниз на извивающийся спуск мрачной улицы, Мэррель увидел только три предмета, по которым можно было заключить о существовании в этом городе какой-то жизни. Один стоял поблизости. Это был молочный кувшин, поставленный во дворе перед низкой дверью. Но он имел такой вид, точно был поставлен тут сотни лет назад. Вторым предметом была бесприютная кошка. Но замечательнее всего был третий предмет — стоявший перед одним из домов двухколесный кэб. От него веяло той же мрачной древностью, как от всего города. Подобно какому-нибудь остатку вымершей породы, он был бы вполне годен для музея и достоин был стоять где-нибудь бок-о-бок с каким-нибудь старинным паланкином. Да он по своему фасону и напоминал паланкин — такого рода экипажи еще попадаются кое-где в глухой провинции.

Кэб был из коричневого полированного дерева. Его внутренние стенки были выложены разноцветными дощечками, когда-то располагавшимися в виде узора. Кузов откидывался назад под острым углом. С обеих сторон были створчатые дверцы, так что когда они захлопывались, то у седока должно было быть такое ощущение, точно он заперт в комоду XVIII века. Это был тот самый экипаж, в котором глаз зоркого еврея Дизраэли усмотрел гондолу Лондона. Всем известно, что с усовершенствованием какого-нибудь орудия теряется все его своеобразие. С этим старинным орудием передвижения исчезло его главное очарование, на которое, может быть, и намекал Дизраэли своим сравнением с гондолой: а именно, что в нем хватало места только на двоих. Хуже того, с ним исчезла чрезвычайно характерная для Англии особенность: вознесение кучера на головкружительную, почти небесную высоту. Что ни говорить о капитализме в Англии, но именно капитализм создал эту необыкновенную комбинацию, при которой бедняк столь высоко вознесен над богачом, пролетарий над собственником. Где, в каком экипаже седоку приходится приподымать крышку кузова, в котором он заперт, как в тюрьме, чтобы обратить несколько слов к невидимому пролетарию, как к некоему божеству? Где мы найдем столь красноречивое аллегорическое изображение нашей зависимости от «низшего» класса? Кто посмеет назвать представителем низшего класса того, кто восседает на этих олимпийских высотах? Он является властелином нашей судьбы, божеством, управляющим нами. Что-то особенное было даже в спине человека, которого Мэррель, при-

близившись, увидел на высоких козлах. Он был плечист, и его бакенбарды своей старомодностью соответствовали архаичности самого экипажа.

Кучер, как бы утомившись долгим ожиданием пассажира, слез со своего наместа и остановился, глядя вдоль улицы. Мэррель имел значительный опыт в разговорах с представителями демократии и через минуту уже вел с возницей оживленную беседу, которая на три четверти не имела ни малейшего отношения к тому, что он хотел узнать. Он давно убедился, что такой метод скорее всего приводит к желаемой цели.

Наконец, ему удалось добиться ответов, которые были для него не лишены интереса. Так, он установил, что кэб представлял собой музейную ценность еще и в другом смысле: ибо он был собственностью возницы. По какой-то ассоциации идей ему припомнился разговор Брэнтри с Оливией Эшли о том, что подобно тому как ящик с красками принадлежит художнику, так и шахта должна принадлежать рудокопу. И ему показалось, что приятное чувство, которое он испытал при виде этого нелепого экипажа, происходило от сознания какой-то заключенной в нем правды.

Но в то же время он видел, что вознице надоело торчать со своим кэбом то перед одним домом, то перед другим. Он возил какого-то джентльмена, который совершал бесконечное паломничество по городу и внушал некоторый страх тем, что, повидимому, имел законное право вламываться в чужие жилища. Судя по его тону, этот джентльмен даже был в связи с полицией. Несмотря на медлительность его путешествия, вид его выражал озабоченную торопливость. Можно

было угадать, что он не просто нанял кэб, а повелительно крикнул, чтобы тот подъехал. Он как будто ужасно спешил и вместе с тем тратил бездну времени на всякое посещение. Из этого можно было заключить, что он или американец или какое-то начальство.

В конце концов выяснилось, что это доктор, одетый некоторыми официальными полномочиями. Возница, конечно, не знал его имени. Но его имя не имело никакого значения. Гораздо важнее было другое имя, которое случайно было известно вознице. Следующая остановка ползучего кэба была назначена немного дальше — у дома, где жил человек, которого возница встречал иногда в трактирах. Его имя было Хэндри.

Добившись таким окольным путем того, что было ему нужно, Мэррель бросился к дому, который имел честь быть обиталищем мистера Хэндри.

Постучав в дверь, он стал ждать. После долгого ожидания, он, наконец, услышал, что кто-то идет. Дверь приотворилась, но Мэррель увидел, что она все еще остается на цепочке. Он едва различил в полутьме чью-то тонкую фигуру. Он успел заметить бледное лицо с острыми чертами и по какому-то чутью угадал, что это женщина и притом молодая.

Взглянув на шляпу Мэрреля, которая производила вполне приличное впечатление, молодая женщина сделала быстрое, молчаливое движение, чтобы захлопнуть дверь. Очевидно, она имела достаточно дел с приличными людьми и усвоила с ними именно такое обращение. Но Мэррель с быстротой молнии подскочил к щелке и вбил туда клин слова.

Должно быть, только такое слово способно было приостановить указанное движение. Молодой женщине, увы, приходилось сталкиваться с людьми, которые в таких случаях ставили ногу на порог. Увы, ей было также знакомо искусство так захлопывать дверь, чтобы прищемить выставленную ногу или принудить быстро ее отдернуть. Но Мэррель помнил то, что ему говорили в трактире и в магазине, и он произнес слова, которые никогда еще тут не произносились и были почти забыты молодой женщиной. Инстинкт подсказал ему снять шляпу и спросить:

— Доктор Хэндри дома?

Не одним хлебом жив человек, а главным образом оказываемым ему уважением. Даже голодные живут этим уважением. Они умирают, когда лишаются его. Решающую роль в данном случае сыграло то, что Хэндри когда-то гордился своей докторской степенью, и особенно то, что никто из нынешних соседей не соглашался признавать за ним эту степень. А его дочь была достаточно взрослая, чтобы помнить то время, когда ее отца титуловали доктором.

Волосы падали ей на глаза. На ней был дырявый и грязный передник. Но когда она заговорила, гость тотчас понял, что она сохранила еще прежние привычки.

Дуглас Мэррель очутился в тесной передней, где не было ничего, кроме кривой подставки для зонтиков, однако без единого зонтика. Он поднялся в полумраке по узенькой крутой лестнице и очутился в маленькой комнатке, где плохо пахло, а на полу валялся какой-то хлам. Тут находился человек, ради которого Мэр-

рель предпринял свое путешествие, подобное тому, какое предпринял Стенли для розысков Ливингстона.

Волосатая голова доктора Хэндри напоминала одуванчик, который, казалось, сейчас разлетится во все стороны и разнесется по ветру. Он имел более опрятный вид, чем можно было ожидать, но, может быть, такое впечатление объяснялось тем, что он был аккуратно и тщательно застегнут до самого ворота. Это входит иногда в привычку у голодных. Несмотря на годы, проведенные в обстановке лишений, он сохранил природное изящество манер. Он сидел в небрежной позе на самом краешке стула. Забывшись, он мог быть оскорбительно груб, но в обычное время бывал преувеличенно вежлив. Чуть только присутствие Мэрреля достигло его сознания, он тотчас вскочил на ноги, подобно тоненькой марионетке, которую дернули за нитку. Он был уже достаточно потрясен тем, что его называли доктором, но совершенно опьянен от темы, на которую с ним заговорил посетитель. Как все старые, опустившиеся люди, он жил прошлым. И вдруг — на один момент — ему показалось, что это прошлое воскресло. Ибо темная комната, в которой он был замурован, как мертвец в склепе, снова услышала человеческий голос, спрашивавший иллюстрационные краски Хэндри.

Не ответив ни слова, он подошел, пошатываясь на тонких ногах, к полке, где стояло множество совершенно несовместимых друг с другом предметов, взял старую оловянную коробку, понес ее к столу и дрожащими пальцами принялся ее откупоривать. В коробке находилось несколько стеклянных бутылочек,

покрытых пылью. Вид этих бутылочек как будто развязал ему язык.

— Для их употребления было специальное средство, которое вкладывалось в коробку, — сказал он. — Некоторые пробовали разводить их маслом или водой. Впрочем, прошло уже тридцать лет, как ими никто не пользовался.

— Я скажу моей приятельнице, чтобы она была осторожна, — сказал, улыбаясь, Мэррель. — Она хочет работать по-старому.

— Ах, да, вот именно, — сказал старик, с неожиданной гордостью подняв голову. — Я с радостью буду давать советы — советы полезные, я в этом уверен. — Он прочистил горло, и к нему странным образом вернулась прежняя сила голоса. — Прежде всего надо помнить, что краски этого сорта по своей природе непрозрачны. Некоторые смешивают блеск с прозрачностью и при этом проводят параллель с цветным стеклом. Конечно, и то и другое — типичное средневековое искусство, и Моррис был тонким знатоком и того и другого. Но я помню, в какую ярость он приходил, когда кто-нибудь забывал, что стекло прозрачно. «Если кто сделает на оконном стекле рисунок, который будет казаться плотным, — говорил он, — то он достоин быть посаженным на это стекло».

Мэррель продолжал свои расспросы.

— Я думаю, мистер Хэндри, что в вашем изобретении вам помогли ваши знания по химии?

Старик задумчиво покачал головой.

— Одна химия вряд ли могла бы дать мне все нужные сведения, — сказал он. — Тут и оптика и психо-

логия. — Он неожиданно опустил бороду к столу и произнес быстрым шопотом: — Мало того: тут патология.

— О-о, — сказал посетитель и стал ждать, что будет дальше.

— Знаете ли вы, — заговорил Хэндри с внезапной рассудительностью, — знаете ли вы, почему я потерял покупателей? Знаете ли вы, как я дошел до этого состояния?

— Насколько я могу судить, — сказал Мэррель с неожиданной для него самого мрачной энергией, — с вами подлым образом поступили люди, которым хотелось сбыть свой собственный товар.

Эксперт ласково улыбнулся и покачал головой.

— Это научный вопрос, — сказал он. — И ученому доктору не так легко объяснить его неспециалисту. Ваша приятельница, как вы говорите, дочь моего старого друга Эшли. Это редкий образец еще уцелевшего здорового рода. И, повидимому, без всяких признаков дегенерации.

Пока он произносил с важной снисходительной интонацией эти слова, внимание посетителя направилось на нечто другое. Он с любопытством разглядывал стоявшую позади девушку.

Лицо ее показалось ему гораздо интереснее, чем тогда, когда он мельком видел ее на пороге. Она откинула назад черные локоны, свисавшие ей на глаза подобно перьям у лошадей погребальной процессии. Тонкий нос с горбинкой придавал ее лицу горделивое выражение. В глазах было напряженное внимание.

Было ясно, что ей не нравилось направление, которое принимал разговор.

— Есть два психологических закона, — продолжал ее отец непринужденным тоном лектора. — Но я никак не мог растолковать их своим коллегам. Первый закон утверждает, что бывают психические заболевания, распространяющиеся на целые поколения, подобно тому как чума охватывает целые районы. Второй закон гласит, что болезни, поражающие органы чувств, связаны с болезнями мозга. Почему же слепота к восприятию красок должна составлять исключение?

— Вот что, — сказал Мэррель, внезапно выпрямляясь на своем стуле, и почувствовав, как мало-помалу проясняется его недоумение. — Вы говорите: слепота к краскам. По вашему мнению, все это произошло потому, что почти все ослепли.

— Все в одинаковой степени подвержены воздействию данного периода всемирной истории, — любовно поправил доктор. — Что же касается длительности эпидемии или ее периодичности, то это другое дело. Если вы сообразовываете взглянуть на составленные мною заметки. . .

— Вы хотите сказать, — перебил Мэррель, — что этот огромный магазин, занимающий целую улицу, был построен в известном смысле в припадке массовой слепоты. И бедный старый Вистер поместил свой портрет на десяти тысячах листов, чтобы торжественно засвидетельствовать факт своей слепоты.

— Происхождение такого явления легко объяснимо наукой, — сказал доктор Хэндри. — И моя гипотеза, как кажется, овладевает полем сражения.

— Полею сражения пока что владеет большой магазин, — сказал Мэррель. — И я сомневаюсь, чтобы продавщица, которая предлагала мне пастельные мелки и красные чернила, разбиралась бы в каком-нибудь научном определении.

— Я вспоминаю слова моего старого друга Поттера, — заметил Хэндри, смотря в потолок. — Он говорил, что истинно научные объяснения всегда чрезвычайно просты. Возьмем данный случай. Даже поверхностный взгляд на вещи покажет, что все человечество сошло с ума. Тот, кто думает, что краски, которые они рекламируют в своих листках, лучше моих, явно сумасшедший. Так что, с известной точки зрения, большинство людей действительно сошло с ума. По моей теории, безошибочным симптомом слепоты к краскам является...

— Боюсь, что отцу нельзя больше говорить, — сказала молодая девушка вежливо, но решительно. — Простите его. Мне кажется, он немного устал.

— О, конечно, — сказал Мэррель и поднялся, слегка пошатнувшись. Он пошел к двери, но вдруг остановился пораженный внезапной переменой, происшедшей в молодой девушке. Она попрежнему стояла за стулом своего отца. Но ее глаза, темные и сверкающие, были обращены к окну, и каждый мускул ее стройного тела выпрямился, как стальной прут. Среди наступившей тишины из полуоткрытого окна донесся какой-то слабый звук. Это был звук громоздких колес старинного кэба, подъезжавшего к дверям дома.

Мэррель с недоумением открыл дверь и вышел на

темную площадку лестницы. Обернувшись, он с изумлением увидел, что девушка следует за ним.

— Вы знаете, что это значит? — спросила она. — Этот скот опять приехал за отцом.

Мэррель наконец догадался, в чем дело. Он знал о новых правилах, применявшихся, главным образом, на бедных улицах и дававших врачам и прочим официальным лицам неограниченные права над всеми, кто так или иначе казался неудобным для владельцев больших магазинов. Вполне естественно, что изобретатель замечательной научной теории о повальной слепоте к краскам, мог подпасть под эти правила. Судя по отчаянным усилиям дочери отвлечь старика от его излюбленной темы, можно было заключить, что она беспокоится о его безопасности. Попросту говоря, с ним собирались обойтись как с сумасшедшим. А так как он не был ни миллионером, ни эсквайром, то надо было предположить, что новая его классификация будет произведена без замедления. Мэррель почувствовал внезапный прилив дикого бешенства, какое испытывал только в детстве. Он открыл было рот, чтобы заговорить, но его перебил стальной голос девушки.

— Вот так всегда, — сказала она. — Толкнуть в яму, а потом карать за то, что человек там сидит. Это все равно, что колотить ребенка молотком по голове, пока он не оглохнет и не превратится в идиота, а потом ругать его за то, что он олух.

— Ваш отец, — заметил посетитель нерешительно, — не производит впечатления идиота.

— Конечно, нет, — сказала она. — Он очень умен, но для них это только лишний довод, чтобы признать

его помешанным. Если б он не был помешан, то они доказывали бы, что он идиот. Не то, так другое. Они всегда найдут, к чему придраться.

— Кто это они? — спросил Мэррель тихим, но угрожающим голосом, который так хорошо был известен его друзьям.

Ответил ему глубокий, гортанный голос из черного колодца лестницы. Шаткие ступеньки скрипели под тяжестью подымавшегося по лестнице грузного человека. Когда на него упал слабый свет из окна, находившегося на площадке, то обнаружились широкие плечи в просторном пальто, которое, казалось, заполнило все пространство. Его лицо напоминало морду моржа или кита. Как будто выплывало из морских глубин какое-то чудовище, выставляя на свет рыбью лунообразную морду. Всмотревшись внимательнее, Мэррель убедился, что такое впечатление объяснялось короткими, обстриженными под гребенку волосами в соединении с длинными, как клыки, белобрысыми усами и блеском круглых очков.

Это был доктор Гэмбрель. Он говорил на прекрасном английском языке, но, спотыкаясь на ступеньках, произносил вполголоса ругательства на каком-то другом языке. Мэррель с минуту постоял на площадке и потом молча проскользнул обратно в комнату.

— Почему у вас нет света? — резко спросил доктор.

— Я, кажется, тоже схожу с ума, — ответила ему мисс Хэндри. — Я готова принять на себя все, в чем вы подозреваете моего отца.

— Да, да, все это очень тяжело, — сказал доктор,

овладевая собой и проявляя нечто в роде тупого милосердия. — Но эта нерешительность ни к чему не приведет. Где ваш отец?

Круто повернувшись, она впустила его в комнату мистера Хэндри. Доктор бывал тут и раньше, и комната с ее грязью не вызвала с его стороны никакого любопытства. Но мисс Хэндри осматривалась с изумлением.

В комнате не было другой двери. Доктор Хэндри сидел один у стола, а мистер Дуглас Мэррель исчез бесследно.

Прежде чем доктор Гэмбрель успел обратить внимание на это странное исчезновение, несчастный Хэндри вскочил с места и горячо заговорил, не то жалуясь, не то негодуя.

— Поймите, наконец, что я формально протестую против вашего диагноза относительно моего состояния. Если бы мне дали возможность полностью изложить факты в присутствии представителей науки, я бы доказал без труда, что дело совсем не в этом. Я утверждаю, что в настоящий момент, благодаря особой оптической болезни. . .

Доктор Гэмбрель был облечен широкими полномочиями. Он мог ворваться в дом, уничтожить семью и сделать с любым из членов семьи все, что вздумается. Но тем не менее он не был властен остановить поток речи мистера Хэндри. Лекция о слепоте к краскам продолжалась без остановки, пока официальный представитель медицины незаметно припирали лектора к двери и вел его с лестницы. Она не прекратилась даже тогда, когда он умудрился, наконец, вытащить пациента на

улицу и усадить в кэб. Но тут примешались другие события, оставшиеся незамеченными для того, кто принужден был против воли выслушивать лекцию.

Возница, сидевший на верхушке старинного кэба, был характера терпеливого, да иначе оно и не могло быть. Он уже довольно долго ждал перед домом Хэндри, когда произошло нечто весьма для него занимательное и сразу нарушившее его однообразное препровождение времени.

На верхушку кэба внезапно свалился, — повидимому, с неба, — джентльмен, который, едва оправившись от падения, тотчас спрыгнул на землю. Неожиданный гость, встав на ноги, явил пораженному вознице лицо джентльмена, с которым он незадолго перед этим беседовал на дороге. Устремив внимательный взор сначала на неожиданного гостя, затем на верхнее окошко дома, возница пришел к убеждению, что джентльмен свалился не с неба, а из окошка. Происшествие это, если не было чудесным, то во всяком случае представлялось необыкновенным. Счастливые свидетели падения Мэрреля из окна на крышу кэба могли бы составить себе ясное понятие о том, почему он заслужил прозвание Обезьяны.

Возница был удивлен еще более, когда джентльмен взглянул на него с улыбкой и сказал, как бы продолжая начатый разговор:

— Ну, так вот. . .

Не стоит восстанавливать в точности его слова.

Сущность дела заключалась в том, что, обменявшись с возницей несколькими дружелюбными замечаниями, Мэррель прочно уселся на верхушке кэба и вы-

тащил бумажник. Он нагнулся с риском слететь вниз и сказал решительным тоном:

— Послушайте, дружище, я покупаю у вас кэб.

Мэррель был отчасти знаком с научными правилами, на основании которых разыгрался последний акт трагедии иллюстрационных красок Хэндри. Он даже вел однажды на эту тему спор с Юлианом Арчером, большим знатоком юридических вопросов. Юлиан Арчер обладал одним качеством, чрезвычайно важным для общественного деятеля: он с полной искренностью внезапно возгорался интересом к любому предмету, который в данный момент дебатировался в газетах. Если албанский король (частная жизнь которого, увы, заставляет желать лучшего) был в плохих отношениях с шестой германской принцессой, вышедшей замуж за его родственника, то мистер Юлиан Арчер готов был немедленно превратиться в странствующего рыцаря и ехать через всю Европу, чтобы стать на ее защиту, невзирая на пять остальных принцесс, которые не были в поле общественного внимания. Однако было бы несправедливо думать, что в этой его отзывчивости была хоть какая-нибудь доля фарисейства. Во всех этих случаях красивое возбужденное лицо Арчера одинаково возвышалось над столом с выражением беспредельного возмущения. А Мэррель сидел против него и думал, что вот эта-то способность горячиться одновременно с прессой и делает человека общественным деятелем. А он, Мэррель, безнадежно поглощен своими личными делами. Он всегда был в положении частного человека, хотя его родные и друзья играли видную роль в обще-

стве. Но во время этих бесед он чувствовал себя чем-то в роде обледенелого полена в пылающей печи.

— Как вы можете спорить? Тут немислимо спорить! — возмутился Арчер. — Этот закон вводит новое гуманное обращение в убежищах!

— Знаю, — мрачно ответил его друг. — Несомненно, вводит гуманное обращение. Но, представьте себе, большинство совсем не стремится попасть в убежище.

Этот разговор вспомнился ему по поводу того, что Арчер с газетчиками с восторгом приветствовал те мероприятия, которые прямо касались секретной процедуры по делам умалишенных. Определенное должностное лицо являлось одновременно и врачом.

— Это завоевание цивилизации, — говорил тогда Арчер. — Это то же, что было с публичной казнью. Еще недавно людей вешали перед огромной толпой. А теперь это производится более приличным образом.

— Все равно нам было бы не особенно приятно, каким бы приличным образом ни уничтожали наших друзей и родных, — проворчал Мэррель.

Мэррель знал, куда везут Хэндри, и мрачно прислушивался к его медицинскому монологу в кэбе. «Хэндри, — думал он, — единственный безумец в Англии, который в сумасбродных теориях нашел спасение от мстительной ненависти и бесплодных жалоб». Как это ни странно, но у доктора Гэмбреля тоже была своя теория. Она носила название рефлексов спинного мозга и охватывала все мозговые болезни тех, кто, подобно Хэндри, сидел на краешке стула. Доктор Гэмбрель собрал целую коллекцию несчастных, сидевших на краеш-

ках стульев и как бы изображавших тем самым непрочную основу своей жизни. Но о своей теории он готовился доложить по начальству, а не в кэбе.

Что-то мрачно похоронное было в движении кэба, медленно ползшего вверх по крутым улицам серого приморского города. С детства при словах «ползучий кэб», Мэррелю представлялось, будто кэб подкрадывается к седокам и проглатывает их, разевая жадную пасть. У лошади была какая-то странная угловатая фигура. Внутренность кэба, выложенная темной фанерой, была похожа на гроб. Дорога делалась круче. Она как будто давила на лошадь, а та давила на кэб. Наконец, кэб остановился перед воротами, между двумя столбами которых простиралось серо-зеленое море.

ГЛАВА X.

МЕЖДУ ДОКТОРАМИ РАЗНОГЛАСИЕ.

Дом, к которому подполз кэб, почти ничем не отличался от обыкновенного приличного частного дома. Ибо, согласно новым правилам, полиция должна была вести дела частным порядком. Но тем более величественным являлся в этой обстановке начальник, находившийся всегда в полной амуниции. Сюда приводили и отсюда уводили, не прибегая к насилию, потому что всякий понимал бесполезность сопротивления. Доктор привык прятать своих пациентов в кэб, и они редко сопротивлялись. До такого безумия они не доходили.

Это отделение «Комитета по психическим болезням» было учреждено в городе недавно, ибо о провинции вспомнили не сразу. Служителя, прятавшиеся в вестибюле и открывавшие ворота и двери, были еще новичками, если не в своей работе, то в этой местности. И начальствующее лицо, сидевшее в дальней комнате и рассматривавшее дела по мере их поступления, было новее всех. Но, несмотря на это, начальник был стар. Он давно работал в подобных учреждениях и привык отпирать свои обязанности гладко, проворно и с ужающей аккуратностью. Но зрение его уже ослабевало,

и слух был не такой, как он воображал. Это был отставной военный хирург, по имени Воттон. У него были старательно закрученные серые усы, и на лице застыло сонное выражение.

На столе перед ним лежало множество бумаг, среди которых было несколько приказов на сегодняшний день. Сидя в своем комфортабельно обставленном кабинете, он, конечно, не слышал, как кэб подъехал к воротам. Он не видел джентльмена, который с предупредительной любезностью проводил двух седоков кэба по лестнице и пригласил их во внутреннее помещение. Этот джентльмен был так безупречно воспитан, что никому не пришло бы в голову спросить у него, какое право он имеет действовать так безапелляционно. Служителя, повидимому, принимали его за блестяще отполированную часть правительственной машины, и даже доктор подчинился галантному движению его руки, которым тот пригласил его в комнату, по соседству со святилищем начальника. Может быть, если бы кто на минуту раньше выглянул из окна и увидел, как этот благородный джентльмен спрыгивает с крыши кэба, это заронило бы некоторые сомнения. Но доктор был несколько обеспокоен только тогда, когда джентльмен, которого, как ему смутно припоминалось, он мельком видел на темной лестнице, не только с вежливым поклоном закрыл за ним дверь, но и повернул неожиданно в скважине ключ.

Начальник ничего не слышал. Первое, что он услышал, это был стук в дверь, вслед за которым раздался голос: «Сюда, доктор». Так бывало всегда, когда доктор являлся на прием к начальнику, после чего обычно

венно происходил прием жертвы, значительно более короткий. Мистер Воттон надеялся, что на этот раз оба приема будут короткими. Не поднимая глаз от бумаг, он произнес:

— Случай конспиративной мании. . . 9,871.

Доктор Хэндри грациозно склонил голову.

— Конспирация есть скорее симптом, чем основа болезни, — сказал он. — Основа тут чисто физиологическая. . . чисто физиологическая, — и он изысканно откашлялся. — В наше время, кажется, не приходится еще доказывать, что расстройство органов чувств действует на мозг, не так ли? В данном случае налицо все признаки того, что болезнь возникла из самого обыкновенного расстройства оптического нерва. Процесс, путем которого я пришел к этому заключению, сам по себе представляет собой большой интерес. Как вы думаете? . . .

По прошествии четырех-пяти минут стало ясно, что мистер Воттон ничего об этом не думает. Голова его склонялась над бумагами, и он, повидимому, совсем не интересовался стоявшей перед ним личностью. Если бы он взглянул вверх, то, может быть, рваная одежда доктора Хэндри навела бы его на кой-какие мысли. Но он воспринимал только вполне культурный голос доктора Хэндри.

— Мы не имеем надобности входить во все подробности, — сказал он, наконец, видя, что посетитель все дальше углубляется в развитие своей темы и как будто собирается говорить без конца. — Если вы уверены, что это случай именно такого сорта, случай опасной мании, то этого достаточно.

— Во всей моей долгой практике, — сказал доктор Хэндри торжественно, с полным сознанием своей ответственности, — я никогда не встречал случая более ясного. Вопрос оптики становится весьма серьезным, сэр. Он становится угрожающим. Умалишенные во множестве ходят на свободе и даже авторитетно высказываются на научные темы. Не далее, как третьего дня. . .

Его мелодичный, убедительный голос был внезапно заглушен странным шумом в соседней комнате. Как будто о дверь билось чье-то огромное, грузное тело. Когда затихли эти удары, за стеной послышались проклятия, произносимые гортанным голосом, осипшим от ярости.

— Боже милостивый, — воскликнул мистер Воттон, вздрогнув и в первый раз подняв глаза от бумаг. — Что это такое?

Доктор Хэндри с изящной печалью поник головой, но продолжал улыбаться.

— Печальны наши обязанности, — сказал он. — Иметь дело с дикими проявлениями падших натур. . . Грустная необходимость заставляет охранять общество от несчастных. . . Жалкая плоть. . .

Тут дверь снова затрещала под ударами «жалкой плоти», которая, повидимому, обладала достаточной «плотностью». Начальник не совсем удовлетворился объяснениями доктора Хэндри насчет «жалкой плоти». Пациенты или арестанты, если так могут быть названы новые жертвы социального порядка, часто оставались в соседней комнате в ожидании осмотра. Но они всегда находились под охраной агентов, которые помешали бы им выражать свое нетерпение с такой бесцеремон-

ностью. Единственным предположением могло быть только то, что скандаливший за стеной сумасшедший убил своего конвойного.

Старый военный хирург был достаточно предприимчив. Он встал из-за стола и направился к двери, которая продолжала содрогаться под ударами изнутри. Он с минуту посмотрел на нее и затем медленно раскрыл. Не проявив страха, он, однако, принужден был проявить достаточную подвижность, чтобы увернуться и не упасть на пол под напором ворвавшегося в комнату предмета. Ибо в данный момент этот предмет очень мало походил на человека. Вытаращенные глаза торчали из впадин, будто рога. И в этом мистер Воттон невольно усмотрел какое-то подтверждение теории доктора Хэндри о болезни глаз. Усы и волосы топорщились во все стороны, как будто пациент долго чесался головой об стену. И только потом, в ярком освещении комнаты, начальник разглядел на нем белый жилет и серые брюки, каких не носят ни моржи, ни дикари, живущие в лесах.

— Во всяком случае он одет, — пробормотал он, — хотя он и не в своем уме.

Огромный джентльмен, ворвавшийся в дверь, дико оглядывал комнату. Его усы, похожие на клыки, торчали вперед с угрожающим видом. Однако к нему вернулась способность речи. Первые слова, представлявшие собой поток ругательств на одном из местных наречий, сначала показались нечленораздельными звуками. Но двое ученых вскоре стали распознавать целый ряд научных выражений, с трудом вырывавшихся из путаницы иноплеменного диалекта. Стало ясно, что

официальный доктор делает официальный доклад, хотя его речь совсем не походила на доклад. У него тоже была совершенно законченная теория относительно умственных катастроф среди горожан. Он тоже мог указать физиологические и органические основы душевного состояния своего пленника. Он мог объяснить рефлексы спинного мозга так же осмысленно и отчетливо, как Хэндри объяснял слепоту к краскам. Но, к сожалению, обстоятельства не дали ему достаточно благоприятных условий для лекций. В тот момент, как он должен был войти с докладом к начальнику, а Хэндри должен был быть заперт в соседней комнате, бесцеремонный мистер Мэррель ловко перевернул ситуацию двух ученых, плачевным результатом чего и явилась описанная сцена. Должностное лицо, попав в ловушку, поступило так, как поступил бы всякий полнокровный самоуверенный человек, очутившийся в положении, которое он считает совершенно для себя неприличным. Он был из числа тех, чья жизнь протекала гладко, без помех. Ему никогда не приходилось огибать возникавшие на дороге препятствия. Совсем не то было с Хэндри. Он пронес свои вежливые манеры, как единственную реликвию, оставшуюся от его прошлого, сквозь сотни унижений. Он привык элегантно излагать свои положения перед посетителями и принимал культурный и несколько педантический тон в разговоре с полицией. В конце концов оказалось, что в то время, как официальный доктор пыхтел, фыркал и нечленораздельно ругался, патентованный сумасшедший стоял, грациозно склонив голову на бок и производя в горле слабое клохтание, выражавшее скорбь по поводу уни-

жения человеческого духа. Военный хирург переводил взгляд с одного на другого и, наконец, остановил его на ругавшемся незнакомце, как он много раз прежде останавливал его на маниакальных убийцах. В такой странной консультации встретились три замечательных доктора.

Перед домом, на улице, которая, как безумная, мчалась к прибрежной скале, сидел на верхушке своего кэба Дуглас Мэррель. Он поднял лицо к небу, как человек, довольный тем, что он достойно выполнил свое дело. На голове у него была потрепанная черная шляпа, которую он купил вместе с кэбом, хотя она была такого сорта, что следовало скорей приплатить тому, кто согласился бы ее надеть. Однако, она с полным успехом сослужила свою службу. Шляпа определяет класс человека, одежда которого не имеет отличительных признаков. Надев ее, Дуглас Мэррель легко сходил за кучера при этом старинном экипаже. Но, когда он скинул ее, и со своим гладким пробором пробрался наверх, никто из служащих не имел основания сомневаться в его джентльменском достоинстве и высоком положении. Вернувшись на верхушку своего кэба, он снова надел шляпу с гордостью победителя, увенчивающего свое чело лавровым венком.

Он не сомневался в развязке комедии и спокойно ждал. «Если дело пойдет слишком далеко, — думал он, — то потом можно будет самому объясниться с властями». Не прошло и десяти минут, как предположения его оправдались.

Доктор Хэндри, когда-то известный во всем артистическом мире, появился свободный, как чайка, между

темными столбами ворот, стоявших против моря. Бросалось в глаза изящество его манер. Весь его вид говорил о том, что он никогда не выдаст открытых ему профессиональных тайн. Он сделал движение руками, как бы надевая невидимые перчатки, и, ни минуты не задумываясь, совершенно естественно сел в кэб. Мудрый возница надвинул шляпу на брови и быстро повез его вверх по крутой и каменистой улице.

Пусть останется под покровом молчания то, что произошло между начальником и врачом. Сам Мэррель был склонен бросить этот вопрос на произвол судьбы. Он имел репутацию шутника. Но на этот раз ошибочно было бы предположить, что целью его было подшутить над незнакомым доктором. Он испытывал прилив какого-то счастья, как человек, у которого все впереди. Как будто освобождение бедного сумасшедшего старика, охваченного манией слепоты к краскам, было символом освобождения чего-то другого и открывало перед ним какой-то неизвестный радостный мир.

Когда он завернул за угол, солнечный луч прорезал стрелой крутую улицу, столь же мрачную, как тучи на старых иллюстрациях к библии. Взглянув в окно высокого, узкого дома, Мэррель увидел дочь Хэндри.

Женщина, смотревшая из окна, была до сих пор окутана тенью крутой лестницы и высокого, темного дома. На ней была маска нужды и лишений. Нужно прожить в подобном доме, чтобы понять, как лишения изменяют человека. Она сделалась бледной, как растение, в этом узком, темном доме. В доме без зеркал. И

даже без тех зеркал, которые зовутся человеческими лицами. Она давно перестала заботиться о своей наружности. Она была бы изумлена, если бы, идя по улице, вдруг увидела свое изображение в оконном стекле. Однако, выглянув на улицу, она изумилась еще сильнее.

Чтобы объяснить ее удивление, необходимо знать ее историю.

С того дня, как ее отец был разорен шайкой негодяев, слишком богатых, чтобы подлежать наказанию, она спускалась все ниже и ниже в тот мир, где все считаются негодьями и поочередно получают наказание, и где полиция чувствует себя в роли стража, охраняющего огромную тюрьму без крыши. Она давно перестала замечать эту полицейскую точку зрения, привыкнув к ней, как к чему-то обязательному. Если бы ее отца повесили, она была бы в отчаянии, но не была бы удивлена.

Но, увидев его улыбающимся в кэбе, она была совершенно поражена. Она была убеждена, что никто не может вырваться из западни, в которую он попал. Она никогда не видела человеческих следов, выходящих из черной пещеры властвующей классовой силы. Как будто солнце вдруг повернуло на восток, или Темза, остановившись в Гринвиче, вдруг потекла обратно в Оксфорд. Однако это был, несомненно, ее отец, откинувшийся назад и улыбающийся в кэбе. Подобно тому как, выходя из ворот, он сделал жест, как будто надевая невидимые перчатки, так теперь, откинувшись назад, он курил невидимую сигару. Смотря на отца, она вдруг заметила, что возница снимает перед ней свою

шляпу. И жест его при этом был слишком изыскан для его ужасного головного убора. Это движение нанесло последний удар ее чувствам, ибо оно открыло перед ней бесцветные, но старательно зачесанные волосы мистера Мэрреля, эксцентричного джентльмена, который явился к ним несколько часов тому назад.

Доктор Хэндри с юношеской грацией выскочил из кэба, и его рука машинально опустилась в совершенно пустой карман. Он жил в прекрасном прошлом.

— Не стоит того, — поспешно сказал Мэррель, снова нахлобучивая ужасную шляпу. — Это мой собственный кэб, и я делаю это ради забавы. Из любви к искусству, как говорили ваши старые друзья.

Хэндри узнал вежливый голос, несмотря на шляпу, из-под которой он раздавался.

— Мой дорогой сэр, — сказал он. — Я вам обязан великой благодарностью. Пожалуйста, зайдите.

— О, благодарю вас, — сказал Мэррель, слезая со своего сидения. — Полагаю, что мой арабский конь, который спит со мной в палатке среди пустыни, будет, как верный страж, стоять перед домом. Он, кажется, не страдает безумным импульсом к галопу.

Он снова взобрался по темной и крутой лестнице, по которой недавно поднимался, как некое чудовище из морских глубин, достойный психиатр. Каким-то угрызением совести отозвалось в нем это воспоминание, но он тут же утешился тем, что поправить дело теперь было бы довольно трудно.

— Не значит ли это, — спросила она, — что он вернется за отцом?

Мэррель улыбнулся и покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Или я не знаю ни его, ни старого Воттона. Воттон — это честнейший старый джентльмен. Он увидит, что ваш отец гораздо здоровее, чем тот другой. Но и тот не будет слишком спешить оповестить весь мир о том, что он так хорошо раздражает буйно помешанному, что его пришлось запереть на ключ.

— Тогда вы, действительно, спасли нас, — сказала она. — Это удивительно!

— Не так удивительно, как то, что вообще пришлось спасти вас, — сказал Мэррель. — Я, право, не понимаю, к чему все это. Они заставляют сумасшедших ловить друг друга, очевидно, по тому же принципу, как в полиции вор ловит вора.

— Я знал нескольких воров, — сказал доктор Хэндри, с неожиданной свирепостью закручивая свой ус, — но они до сих пор еще не пойманы.

Мэррель посмотрел на него и понял, что к нему возвращается рассудок.

— Может быть, нам в конце концов удастся и воров поймать, — сказал он. И ему вдруг показалось, что он произнес пророчество о судьбе своего дома, своих друзей и еще многого другого. Ибо далеко в Сивудском аббатстве, то, что ему казалось несбыточным предположением, уже назревало, принимало определенные очертания и приближалось к развязке. Но он об этом не знал. Как это ни странно, его воображение окрасилось уже в цвета более яркие, чем иллюстрационные краски Хэндри. Им еще в кэбе овладело непонятное ощущение победы, которое окончательно укреп-

пилось, когда он взглянул вверх и увидел в окне лицо девушки. Он внезапно наклонился к ней и сказал:

— Вы часто смотрите из окна... Если кто проходит мимо...

— Да, — ответила она. — Я часто смотрю из окна.

ГЛАВА XI.

СУМАСШЕСТВИЕ БИБЛИОТЕКАРЯ.

В Сивудском аббатстве состоялось представление пьесы «Трубадур Блондель». Оно не только имело успех, но произвело настоящую сенсацию. Пьесу играли два вечера сряду. На следующее утро было дано специальное представление для школьников и всех прочих. И утомленный Юлиан Арчер, наконец, с облегчением сложил свои доспехи. Злые языки говорили, что утомление его отчасти происходило от того, что он лично не произвел сенсации.

— Итак, все кончено, — сказал он Микелю Херну, который стоял рядом с ним в романтическом зеленом наряде изгнанного короля. — Я собираюсь облачиться в какую-нибудь удобную тогу. Слава богу, нам больше не придется надевать эти костюмы.

— Повидимому, так, — сказал Херн и посмотрел на свои длинные зеленые ноги с таким выражением, как будто он их никогда не видел. — Нам, вероятно, никогда не придется надевать их.

Он постоял так с минуту и, когда Арчер вернулся в свою уборную, медленно пошел за ним и скрылся в собственных апартаментах, прилегавших к библиотеке.

Еще один человек в течение долгого времени после спектакля оставался в каком-то оцепенении, как будто замороженный какой-то мыслью. Это был автор пьесы, который, однако, совершенно не чувствовал себя ее автором. У Оливии Эшли было такое ощущение, как будто она в полночь зажгла спичку, и огонь спички неожиданно разгорелся величественным северным сиянием. Ей казалось, что она нарисовала золотого ангела с пурпурными крыльями, а нарисованные уста вдруг разверзлись и стали произносить вещие слова. В чудака-библиотекаря, превращенного на время в театрального короля, казалось, вселился какой-то демон. Только этот демон был чем-то похож на золотого ангела с «пурпурными крыльями». Он проявлял чувства, которых никто не мог в нем заподозрить, и которых в него не мог вложить поэт. Он шагал через пропасти и взбирался на высоты, недостижимость которых артист признает только наедине с самим собою. Она слушала свои стихи, как чужие. Они звучали так, как она не могла даже мечтать, чтобы они звучали. Она с трепетом ждала каждой новой строчки. У библиотекаря был необычайный дар заставлять каждую строчку звучать лучше предыдущей. И все-таки это были ее собственные милые, жалкие стишки. Один момент остался навсегда не только в ее памяти, но и в памяти множества других гораздо менее впечатлительных людей. Это когда король, застигнутый в своем уединении, отказывается от короны и объявляет, что предпочитает странствия в лесах общению с бесчестными принцами:

Что может заменить певучий лепет
Древесных листьев утренней порой?

На что мне власть австрийского злодея,
Который держит здесь меня в плену?
Я презираю все короны мира
И властвовать над стадом не хочу.
Лишь злой король сидит на троне прочно,
Врачуя стыд привычкой. Добродетель
Для знати ненавистна в короле.
Его вассалы на него восстанут,
И рыцарей увидит он измену —
И прочь уйдет, как я от вас иду!

На траву перед нею упала тень. И, несмотря на то, что она была поглощена своими мыслями, она узнала очертания этой тени. К ней в сад пришел Брэнтри, переодевшийся после спектакля и казавшийся в этом виде каким-то ненастоящим.

Раньше, чем он успел открыть рот, она быстро заговорила:

— Я сделала открытие. Говорить стихами гораздо естественнее, чем говорить прозой. Так же, как петь удобнее, чем бормотать про себя. Только мы все привыкли бормотать.

— За исключением вашего библиотекаря,—ответил Брэнтри. — Про него можно даже сказать, что он поет. Я весьма прозаический человек. Но временами мне казалось, что я слушаю хорошую музыку. Все это очень загадочно. Если библиотекарь способен так играть короля, то из этого можно сделать только один вывод: что он, в сущности, играл библиотекаря. И, как он ни был хорош в роли короля, — еще лучше он сыграл бы книжного червя, буквоеда. Разве в книжных шкафах часто открываются такие театральные светила?

— Вы думаете, что он всегда играет, — сказала

Оливия. — А я знаю, что он никогда не играл. Вот объяснение.

— Может быть, вы правы, — ответил он. — Но разве нельзя было поклясться, что вы видите игру великого актера?

— Нет, нет, в этом-то все дело! — горячо прервала она. — Я бы скорее поклялась, что вижу великого человека.

После небольшой паузы она продолжала:

— Я говорю не в том смысле, что он велик, как Гаррик или Ирвинг. Нет, я хочу сказать, что он великий мертвец, оживший чудесным образом: средневековый человек, восставший из гроба.

— Я понимаю вас, — согласился он. — Вы, конечно, совершенно правы. Вы хотите сказать, что никакой другой роли он не мог бы сыграть. Вот ваш приятель мистер Арчер — тот мог бы сыграть любую роль, потому что он настоящий актер.

— Как это все странно, — сказала Оливия. — Почему мистер Херн, библиотекарь, должен... должен быть таким?

— Мне кажется, я знаю причину, — сказал Брэнтри, и его голос зазвучал глубоко и сильно. — Он все принял всерьез — не так, как другие... И также серьезно отнесся и я. Чертовски серьезно.

— Вы говорите о моей пьесе? — спросила она с улыбкой.

— Я согласился надеть на себя облачение трубадура и играть, — сказал он. — Большого доказательства своего усердия я не мог дать.

— Я хотела спросить, — поспешно перебила она, —

как вы относитесь к серьезности в исполнении роли короля?

— Я не люблю королей, — резко ответил Брэнтри. — Не люблю рыцарей и всего этого парада вооруженной аристократии. Но этот человек их любит. И он не притворяется. Он не сноб и не глупый лакей старого Сивуда. Он единственный, кто на самом деле не боится ни демократии, ни революции. Я это видел из того, как он шагал по этим глупым подмосткам и произносил. . .

— И произносил эти глупые стихи, не так ли? — со смехом прервала поэтесса, грозя ему пальцем и, повидимому, совершенно не обидевшись, как будто в его словах заключалось что-то более интересное, чем вопрос о ее поэзии.

Но Брэнтри нелегко было сбить на простую болтовню. Он продолжал спокойным тоном человека, который думает всегда со сжатыми кулаками.

— Он достиг апогея и, казалось, способен был преодолеть любые препятствия, когда говорил, что бросит свой скипетр и отправится с копьем блуждать по лесам. И я чувствовал. . .

— Он тут, — шепнула Оливия. — Самое комичное в том, что он все еще блуждает по лесам со своим копьем.

Действительно, мистер Херн оставался в своем театральном костюме, повидимому, забыв переодеться, когда он по примеру Арчера прошел в уборную. Длинное охотничье копье, на которое он опирался, произнося свои монологи, было попрежнему бессознательно зажато в его руке.

— Вы не собираетесь переодеться к завтраку? — спросил Брэнтри.

Библиотекарь посмотрел на свои ноги и равнодушно переспросил:

— Как переодеться?

— Ну, в ваш обыкновенный костюм, — ответил Брэнтри.

— О, теперь не стоит, — сказала мисс. — Вы успеете переодеться после завтрака.

— Да, да, — машинально ответил библиотекарь, удаляясь со своими длинными зелеными ногами и длинным копьём.

За завтраком все имели странный вид. Те, кто снял театральный костюм, не могли никак освоиться со своим обыкновенным платьем. Дамы находились в состоянии необыкновенного возбуждения. Как раз в этот день в Сивудском аббатстве был большой политический прием, еще более важный, чем тот, который должен был послужить для просвещения Брэнтри. Присутствовали те же замечательные лица, что и тогда, и еще многие другие. Здесь был сэр Ховард Прайс, если не с белым цветком в петлице, в знак безупречной жизни, то в белом жилете старомодного торговца, жизнь которого претендует на безупречность. Здесь был меланхолически улыбающийся мистер Альмерик Вистер, одетый в изысканную смесь модного и артистического костюма. Тут был и мистер Хэнбэри, эсквайр и путешественник, и лорд Иден с моноклем и волосами, похожими на желтый парик. Здесь был и мистер Юлиан Арчер, в таком элегантном костюме, какой можно встретить не на живом человеке, а только на тех

идеальных созданиях, которые стоят в окне магазина готового платья. Тут же слонялся мистер Микель Херн в одеянии театрального короля.

Брэнтри не принадлежал к числу поклонников «приличия», но и он в числе прочих невольно устремил удивленный взгляд на эту ходячую загадку.

— Вы как будто витаете в облаках, — сказал он. — Я думал, что вы давно переоделись.

Херн был как будто рассержен.

— Как переоделся? — спросил он с досадой.

— Да в самого себя, — ответил тот. — Покажите нам свое знаменитое исполнение роли мистера Микеля Херна.

Микель Херн вдруг поднял голову и сосредоточенно посмотрел на Джона Брэнтри. Потом он пошел к себе — должно быть, переодеваться. А Джон Брэнтри отправился на поиски мисс Оливии Эшли.

Разговор между ними был продолжительный и интимный. Гости разъехались, приближался час обеда, и Оливия пошла одеваться. Когда она появилась в роскошном лиловом платье с серебристым шитьем, они снова встретились в саду у старинного монумента, там, где произошел их первый спор. Но теперь их встреча была более чем дружеской.

Мистер Херн, библиотекарь, стоял рядом с серым обломком. Издали его можно было принять за бронзовую статую, позеленевшую от времени, и только потом выяснилось, что это все та же знакомая фигура, одетая в фантастический костюм лесного отшельника.

Оливия спросила его серьезно:

— Вы никогда не переоденетесь?

Он медленно повернул к ней голову и взглянул на нее печальными голубыми глазами. Потом ответил тихим голосом, как будто исходившим из-под земли:

— Переоденусь ли я когданибудь?.. Или никогда не переоденусь?

Ей вдруг показалось что-то страшное в его пристальном взгляде, и она, вздрогнув, отступила к стоявшему позади нее человеку, который заговорил авторитетным тоном:

— Вы наденете вашу обыкновенную одежду или нет?

— Что вы называете обыкновенной одеждой? — спросил Херн.

— Ну, — ответил Брэнтри, коротко засмеявшись, — что-нибудь в роде того, что на мне, хотя я никогда не был законодателем моды. — Он мрачно улыбнулся и добавил: — Впрочем, никто, конечно, не заставит вас надеть красный галстук.

Херн сдвинул брови и с некоторым недоумением, как бы стараясь что-то понять, спросил, прямо глядя на Брэнтри:

— А вы считаете себя революционером, потому что носите красный галстук?

— Нет, у меня есть и другие признаки, — ответил Брэнтри. — Но галстук, конечно, является как бы их символом. Многие из тех, которых я очень уважаю, полагают, что это шарф, смоченный кровью. Именно это и заставляет меня носить этот галстук.

— Так, — задумчиво сказал библиотекарь. — Это заставляет вас носить красный галстук. Но, осмелюсь спросить, почему вы вообще носите галстук? Я хотел

бы знать, почему все современное человечество носит галстуки.

Брэнтри, который всегда был искренен, вдруг замолчал. А тот продолжал, смотря на него с любопытством, как на выходца из экзотических стран.

— Ну, вот, — проговорил он тем же тихим голосом. — Вы встаете. . . моетесь. . .

— Я считаю это необходимым, — заметил Брэнтри.

— Ну, да. Вы надеваете рубашку. Потом берете полоску полотна и, обернув вокруг шеи, пристегиваете запонкой. Затем завязываете особенным узлом кусок ткани того цвета, какой вам нравится. И так каждое утро, в течение всей жизни. Вам даже в голову не приходит отказаться от этого. И не вы один делаете это. Каждое утро, в один и тот же час, множество людей проделывают то же самое и не замечают этого, так как это вошло у всех в привычку. И вы еще называете себя революционером, вы гордитесь, что у вас галстук красного цвета!

— В ваших словах есть кое-что, о чем стоит поразмыслить, — сказал Брэнтри. — Но в данном случае я вижу, что вам попросту хочется оттянуть как-нибудь ту неприятную минуту, когда вам придется расстаться с этим фантастическим костюмом.

— Почему вы называете мой костюм фантастическим? — спросил Херн. — Он гораздо проще вашего. Достаточно просунуть в него голову, и вы уже одеты. Кроме того, только проносив его день или два, вы откроете все элементы, из которых он составлен. Например, — и он нахмурившись посмотрел на небо, — вдруг пойдёт дождь, поднимется ветер, сделается

холодно. Как вы все поступите в таком случае? Побегите домой, вернетесь с ворохом вещей для леди, и среди них будет, конечно, огромный, уродливый зонтик. И будете ходить, как китайский император под балдахинном. Тут будут еще всякие накидки, макинтоши. Но при нашем климате в девяти случаях из десяти достаточно только прикрыть голову. Вот так — и Херн натянул капюшон, висевший у него за плечами. — А в остальное время можно оставаться с открытой головой. Право, — быстро добавил он, понизив голос, — в капюшоне есть что-то успокаивающее. В нем есть какой-то символ. Я не удивляюсь, что имя знаменитого средневекового героя было Робин Гуд.¹

Оливия Эшли смотрела, задумавшись, на волнистые очертания холмов, терявшиеся в вечернем тумане. Но при этих словах она внезапно обернулась, как бы очнувшись.

— Что символического вы находите в капюшоне? — быстро спросила она.

— Приходилось ли вам когда-нибудь смотреть из-под арки? — спросил Херн. — И не казался ли вам представлявшийся оттуда пейзаж потерянным раем? Это объясняется тем, что картина тут вставлена в рамку... Вы отрезаны от какого-то мира, и вам позволено туда только взглянуть. Мир — это окно, а не пустая бесконечность. И, когда я надеваю капюшон мне кажется, что я смотрю в окно. Я говорю: это тот мир, который видел и любил Франциск Ассиизский, потому что это был мир ограниченный. Капюшон имеет очертания готического окна.

¹ По-английски hood (гуд) значит капюшон.

Оливия посмотрела через плечо на Джона Брэнтри и сказала:

— Помните, что говорил бедняга «Обезьяна»? . . . Ах, нет, это было еще до вас.

— До меня? — спросил Брэнтри, мгновенно усумнившись.

— Ну, да, до того, как вы были здесь в первый раз, — ответила она, покраснев и снова устремив взгляд вдаль. — Он сказал, что будет смотреть из окна, как прокаженный.

— Типичное окно средневековья, — заметил Брэнтри с невольной гримасой.

Лицо человека в средневековом костюме внезапно вспыхнуло, как при вызове на поединок.

— Найдите мне современного короля, короля «божьей милостью», который осмелился бы пойти в убежище к прокаженным, как это сделал король Людовик! — воскликнул он с жаром.

— Не имею охоты заниматься королевскими добродетелями, — сурово ответил Брэнтри.

— Все равно: укажите такого вождя. Святой Франциск был народным вождем. Предположим, вот по этому лугу идет прокаженный. Вы решились бы подойти к нему и его обнять?

— С той же охотой, как и всякий из нас, — сказала Оливия, — и может быть, даже с большей.

— Вы правы, — сказал Херн, как бы образумившись. — Может быть никто из нас не сделал бы этого. . . Ну, а что, если миру нужны такие деспоты, как Людовик, и такие демагоги, как Франциск?

Брэнтри медленно поднял голову и твердо посмотрел на Херна.

— Такие деспоты. . . — начал он.

Но вдруг замолчал и нахмурился.

ГЛАВА XII.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И БЕСЕДКА.

Уголок сада, где они беседовали, внезапно ожил благодаря появлению возбужденно-говорливого мистера Юлиана Арчера в ослепительном вечернем костюме.

Он разлетелся к ним и остановился как вкопанный, вытаращив глаза на Микеля Херна.

— Вы н и к о г д а не переоденетесь? — воскликнул он.

Шестое повторение одной и той же фразы окончательно вывело сивудского библиотекаря из равновесия.

Глядя в упор на Арчера, он заорал во всю глотку, так что голос его раскатился по всей аллее:

— Нет! Никогда не переоденусь!

Не сводя глаз с Юлиана Арчера, он продолжал:

— Вы все только и делаете, что меняете костюмы. Я своего менять ни за что не стану. Из-за этих переодёваний вы повсюду терпите поражения и всегда будете терпеть поражения. Было счастливое время, когда люди были здоровы, нормальны, так же близки к природе, как сама земля. Вы потеряли это время. И, когда оно вернется на миг, у вас не хватает рас-

судка, чтобы задержать его. Я не стану переодеваться! . .

— Ничего не понимаю: что он такое говорит? — спросил Арчер таким тоном, как говорят о животном или о ребенке.

— Я понимаю, что он говорит, — мрачно ответил Брэнтри. — Но он не прав. Неужели вы действительно верите, мистер Херн, в этот мистицизм? В таком случае объясните точно, в чем, по вашему, заключается правдивость старого строя.

— Да, в старом строе была правда, а вы погрязли во лжи, — ответил Херн. — Я не говорю, что старый порядок был идеален, что в нем не было недостатков. Я только говорю, что все его недостатки и несовершенства так и назывались своим именем. Вы говорите о деспотах и вассалах. А у вас разве нет принуждения и неравенства? Только вы не смеете назвать этого по имени. Каждый недостаток вы защищаете тем, что даете ему другое название. У вас есть король. Но вы говорите, что закон не позволяет ему быть королем. У вас есть Палата лордов, а вы доказываете, что она равна Палате общин. Желая польстить рабочему или крестьянину, вы даете ему титул «истого джентльмена», а это то же самое, что произвести его в «виконты». Вы из любезности спрашиваете у джентльмена, почему он не употребляет своего титула. Вы оставляете миллионеру его миллионы, и потом восхваляете его «простоту», другими словами, его грубость, как будто в золоте есть что-нибудь хорошее, кроме блеска! Вы защищаете духовенство, уверяя, что оно совсем не походит на духовенство, и с пылкостью

отстаиваете право священников иногда поиграть в крикет. Ваши учителя отказываются от тех доктрин, в которых состоит их учение. Доктора божественного права отрицают божество. Все это обман, трусость, позор! Вы стараетесь продлить существование вещей тем, что отрицаете их существование.

— То, что вы говорите, справедливо относительно некоторых вещей, — ответил Брэнтри. — Но я лично не стремлюсь продлить их существование. И если дело пошло на проклятья и пророчества, то я скажу вам, что многое из этого окончит свое существование раньше вас.

— Весьма возможно, — сказал Херн, смотря на него своими большими, светлыми глазами. — Все это будет уничтожено и вновь возродится. Я не уверен в том, что король когда-нибудь не станет вновь королем.

Синдикалист увидел в глазах библиотекаря нечто такое, что вдруг изменило его настроение и даже привело в уныние.

— Вы полагаете, — спросил он, — что теперь самое время играть короля Ричарда?

— Нет, я полагаю, — ответил тот, — что настала пора кому-нибудь сыграть Львиное Сердце.

— А! — сказала Оливия, как будто что-то сообразив. — По-вашему, сейчас нужны добродетели короля Ричарда?

— Единственная добродетель короля Ричарда состояла в том, что он ушел из своей страны, — сказал Брэнтри.

— Но когда-нибудь и он и его добродетели могут вернуться, — возразила она.

— Если он и вернется, то найдет порядочно перемен, — сказал синдикалист. — Ни крепостных, ни васалов. Даже крестьяне смело будут глядеть ему в лицо. Он увидит, что порваны цепи его власти. Что встает что-то гигантское, страшное, что-то такое, что вселяет ужас даже в сердце льва.

— Что это? — отозвалась Оливия.

— Сердце человека, — сказал он.

Оливия молча переводила взгляд с одного на другого. Один воплощал то, о чем она мечтала, и даже был одет в одежду подобающего столетия. Другой волновал ее чем-то новым, о чем она никогда раньше не думала. Путаница ее ощущений нашла себе исход в довольно неожиданном восклицании:

— Ах, если бы тут был Обезьяна!

Брэнтри пронизательно посмотрел на нее и угрюмо спросил:

— Зачем это?

— Потому что вы все стали чем-то другим, — сказала она. — Вы говорите, как в пьесе. У вас у обоих столько пылкости, великодушия, возвышенных чувств — и ни капли здравого смысла!

— Я и не знал, что вы специалистка по части здравого смысла, — сказал Брэнтри.

— У меня никогда его не было, — ответила она. — Розамунда всегда говорила, что у меня его нет ни на грош. Но у любой женщины больше здравого смысла, чем у вас.

— Вот как раз идет эта леди, — сказал Брэнтри. — Надеюсь, что она вас поддержит.

— Она скажет то же, что я, — спокойно сказала Оливия. — Сумасшествие заразительно, и зараза распространяется. Никто из вас не может выпутаться... из моей несчастной пьески.

Розамунда Северн решительными шагами шла через лужайку, точно несомая ветром. Этот ветер задел какие-то струны и превратился в ревущий шторм, бушевавший целых два часа. В результате этого шторма Розамунда ворвалась в кабинет и предстала пред своим отцом, чего не случилось со времени представления общей петиции о приглашении Брэнтри.

Лорд Сивуд поднял глаза от лежавшей перед ним кипы писем и спросил:

— В чем дело?

Его тон мог показаться смущенным. Однако на самом деле этот тон заставлял смущаться других.

Но Розамунду нельзя было смутить ничем. Она проговорила с жаром:

— Это ужасно! Библиотекарь не желает снимать костюм.

— Ну, что же, и пусть, — сказал лорд Сивуд и стал терпеливо ждать.

— Да, но это уже переходит границы шутки, — добавила она нетерпеливо. — Неужели вы не понимаете? Он все еще ходит в своем зеленом облачении.

— Строго говоря, ливрея у нас всегда была голубая, — задумчиво сказал лорд Сивуд. — Но это не имеет большого значения. Думаю, что сейчас нельзя настаивать на установленном цвете. Тем более, что

библиотекаря никто не видит. Библиотека не является людным местом. Сам по себе он, . . . весьма скромный малый, если я не ошибаюсь. Его можно совсем не замечать.

— О,—сказала Розамунда необычайно спокойно и сдержанно. — Вы думаете, что его никто не заметит?

— Я так думаю, — сказал лорд Сивуд. — Я сам его не замечаяю.

Если лорд Сивуд до сих пор оставался в тени за кулисами драмы «Трубадур Блондель» и за тяжелыми портьерами Сивудского аббатства, то только потому, что он вообще не принимал участия ни в каких увеселениях и всегда и везде блистал своим отсутствием. Это происходило по многим причинам, из которых самыми важными были две: он имел несчастье, во-первых, быть инвалидом, а, во-вторых, — государственным человеком. По мере того как все шире и шире раздвигались сферы его влияния, круг его интересов становился все уже и уже. Из любви к большим вопросам он замыкался в своем тесном мирке. Его специальностью была геральдика, и в этой области он был тем более спокоен, что, кроме него, в Англии были всего два-три специалиста по тому же предмету. Геральдикой он занимался так же серьезно, как политикой и общественной жизнью. Он не разговаривал ни с кем, за исключением экспертов по тому или другому вопросу. Исключительные люди делали ему сообщения исключительной важности. Но он никогда не знал, что происходит в его собственном доме. Иногда он замечал, что домашний порядок чем-то нарушен. Так он

заметил суету по поводу пьесы о трубадурах. Но, если бы он увидел библиотекаря на верхушке лестницы, то едва ли поинтересовался бы, зачем он туда полез. Пожалуй, запросил бы по этому поводу какого-нибудь специалиста по лестницам, но и то не прежде, чем убедился бы, что это, действительно, самый лучший современный специалист по данному вопросу. На основании греческого словопроизводства он доказывал бы, что по-гречески «аристократ» обозначает того, кто владеет всем самым лучшим. И, действительно, будучи инвалидом, он не пил и не курил, но в доме у него были лучшие сигары и лучшее вино. По наружности это был костлявый, щедушный человек с горбатым носом и угловатой фигурой. Но у него была способность внезапно устремлять на собеседника испуганно-внимательный взгляд, который производил совершенно ошеломляющее впечатление на того, кто сначала принимал его за слабоумного. В общем это был единственный в своем роде чудак, который мог допустить в своем доме что угодно и даже не понял бы, что происходит.

Однако наступает момент, когда даже отшельник выходит из своей горной пещеры и видит, что расположенный в долине город пестрит флагами. Наступает момент, когда высохший ученый исследователь выглядывает из окна своей мансарды и видит, что город сверкает огнями иллюминации. Так и лорд Сивуд, наконец, понял, что за дверьми его кабинета произошла революция, хотя он и не получил по этому поводу никакого официального рапорта. Если бы это была революция в Гватемале, то он осведомился бы о ней во всех подробностях, как только ему удалось бы

снести с министром Гватемалы в Лондоне. Если бы это была революция в Северном Тибете, то он, конечно, послал бы за Биггем, так как это единственный человек, который действительно был в Северном Тибете. Но так как это было нечто бушевавшее в его собственном саду и в его собственной гостиной, то он остерегался всякой информации, так как она могла оказаться преувеличенной.

Две недели спустя он сидел в беседке, находившейся в конце аллеи против библиотеки. У него был важный разговор с премьер-министром. Из всего окружавшего его пейзажа он не замечал ничего, кроме премьер-министра. Это не было с его стороны снобизмом, потому что он считал себя и в социальном и в генеалогическом отношении гораздо выше премьер-министра, хотя тот и был граф Иден. Он просто не считал для себя возможным сноситься с кем-либо, кроме людей высокопоставленных. Он слушал с церемонным вниманием новости, которые излагал ему высокопоставленный посетитель относительно внешнего мира. Заботы его касались только внешнего мира. Он жил, если не во всех концах света, то по крайней мере на конце телеграфного провода.

Худое морщинистое лицо лорда Идена так плохо гармонировало с его желтыми волосами, что они казались желтым париком. Он один вел разговор, а хозяин дома сохранял вид человека, с важностью принимающего рапорт на главной квартире.

— Беда в том, — говорил лорд Иден, — что на их стороне появились убежденные люди. Это крайне затрудняет положение. Мы знали, что есть члены рабо-

чих союзов и что с ними надо считаться. И мы старались постепенно овладевать ими, говорили, что они великолепные парламентарии, и рано или поздно пристраивали их к какому-нибудь занятию. Вот и все. Но с этими углекопами вышло совсем другое. Все союзы вообще похожи друг на друга, как две капли воды. Публика, которая там собирается, сама не знает, за что ей голосовать.

— Само собой, — подтвердил лорд Сивуд, с величественной грацией кивая головой, — совершенно невежественные люди, не правда ли?

— Да, несколько невежественнее нас — продолжал лорд Иден. — Во всяком случае невежественнее Палаты общин или Палаты лордов. Представьте себе собрание, которое само не знает, чего оно собственно хочет. Они называли себя социалистами или чем-нибудь в таком роде, а мы называли себя империалистами или как-нибудь иначе. И все было хорошо с обеих сторон. Но вот явился этот Брэнтри, перевернул всю их бессмыслицу на свой лад, и теперь, пожалуй, слова не помогут. Одним словом, романтика империи больше не действует, — а на той стороне как раз есть романтика.

— Разве в этом мистере Брэнтри есть романтика? — спросил лорд Сивуд, совершенно не заметивший того, что Брэнтри в течение нескольких дней был его гостем.

— По крайней мере, в их глазах, — ответил премьер-министр. — Он подчинил своему влиянию все союзы, главным образом по обработке угольных продуктов. Поэтому я и пришел посоветоваться с вами. Мы оба заинтересованы как в угольных продуктах, так

и в самом угле, и я был бы очень рад выслушать ваше мнение.

— Я, действительно, получаю некоторый доход от здешних предприятий, — сказал лорд Сивуд, склоняя голову. — Большинство из нас, как вам известно, понемногу втянулось в промышленность. Наши предки ужаснулись бы, но, полагаю, это все же лучше, чем остаться ни с чем. Должен признать, что мои интересы связаны больше с побочными продуктами, чем, так сказать, с сырым материалом. И тем печальнее, что этот мистер Брэнтри именно эту отрасль избрал полем сражения.

— Действительно, полное сходство с полем сражения, — мрачно ответил политический деятель. — Правда, они еще не идут убивать, но и до этого недалеко. Впрочем, главная опасность не в этом. Если они поднимут бунт, то их довольно легко будет усмирить. Но какого дьявола вы сделаете с бунтовщиками, которые не бунтуют? Я думаю, что сам Маккиавели не решил бы этой задачи. . .

Лорд Сивуд сложил свои длинные, тонкие пальцы и прочистил горло.

— Я не считаю себя Маккиавели, — сказал он с подчеркнутой скромностью, — но, надеюсь, не ошибусь в предположении, что вы в некотором роде спрашиваете моего совета. Обстоятельства таковы, что они требуют специального изучения. Я обратил внимание на этот вопрос и, особенно, на параллельные вопросы в Австралии и Аляске. Начать с того, что условия выработки побочных продуктов из угля заключают в себе соображения, которые часто понимаются. . .

— Боже мой! — воскликнул лорд Иден и неожиданно сделал движение, как бы уклоняясь от направленного на его голову удара. Его восклицание было совершенно естественно. Но его собеседник был так занят собственной речью, что заметил причину этого восклицания только спустя несколько секунд.

Лорд Сивуд увидел длинную перистую стрелу, которая еще трепетала над самой головой лорда Идена, вонзившись в деревянную стену беседки. А лорд Иден успел заметить ее раньше, когда она летела откуда-то из сада с гудением большого насекомого.

Оба представителя аристократии вскочили на ноги и созерцали в молчании странный предмет. Наконец, более практический политик обратил внимание на прикрепленный к стреле клочок бумаги, в котором, повидимому, заключалось объяснение происшествия.

ГЛАВА XIII.

ПРЕДШЕСТВЕННИК И СТРЕЛА.

Стрела, влетевшая в беседку с мелодичным, подобным пению, жужжанием, открыла пред достойным владельцем поместья перемену, совершившуюся в окружающем мире. В чем заключалась эта перемена и каковы были ее причины, он затруднился бы определить. Да это и трудно было бы объяснить. Началось с безумия одного из мужчин, но, по странному стечению обстоятельств, не меньшее значение имела тут и чрезвычайная нормальность одной женщины.

Мистер Херн, библиотекарь, окончательно и категорически отказался переодеться.

— Я не могу, — кричал он в отчаянии, — просто не могу. Я буду чувствовать себя совершенным дураком, как если бы. . .

— Как если бы? — спросила Розамунда, смотря на него круглыми глазами.

— Как если бы я был на маскараде!

Розамунда оказалась менее нетерпеливой, чем можно было ожидать.

— Вам кажется, что в этом костюме вы себя чувствуете естественнее? — произнесла она медленно и как бы в раздумьи.

— Конечно,— воскликнул он с радостью,— гораздо естественнее! Столько есть естественных вещей, которыми я никогда не пользовался. Естественно — прямо носить голову, а я этого не знал. Я закладывал руки в карманы и ходил согнувшись. Теперь я закладываю руки за пояс, и это делает меня выше на десять дюймов. Посмотрите на это копьё. — Он не расставался с копьём короля Ричарда, которое тот, в качестве обитателя лесов, брал с собой для охоты на кабанов. Воткнув копьё в землю, он указал ей на него.

— С той минуты, как вы возьмете в руки подобную вещь, — заговорил он с жаром, — вам станет ясно, почему вообще люди носили длинные палки: копьё, пики, посохи. Их нужно держать, вытянув руку и закинув голову. А для того чтобы опереться на маленькую современную трость, вам приходится сгибаться, как будто это костыль. И весь ваш мир опирается на костыль, потому что он калека.

Тут он вдруг остановился и смущенно посмотрел на нее.

— Но вам... вам нужен скипетр, подобный копьё... Впрочем, может быть, вас это совсем не интересует...

— Не знаю, — проговорила она задумчивым тоном, совсем не похожим на ее обычный решительный тон.

При этих словах он почувствовал внезапное облегчение; происхождение которого не легко объяснить. В его закинутой голове и гордой львиной позе, которую он принимал в минуты задумчивости, не было никакой бравады или театральности. Его прежний костюм, действительно, пугал его. Ему теперь так же

трудно было вылезти из своего зеленого костюма, как тогда было трудно влезть в него.

Когда Розамунда присоединилась к общей группе, где шел спор Херна с Брэнтри, то все, в том числе и сами спорщики, были совершенно уверены в том, что она немедленно оборвет спор и тотчас заставит библиотекаря переодеться, как маленького шалуна, свалившегося в пруд. Но загадочное явление, известное под именем человеческой природы, редко оправдывает ожидания. Если бы кто представил себе заранее всю эту нелепую историю, то вряд ли усомнился бы в решении вопроса, какая из двух женщин — Оливия или Розамунда — должна обнаружить в этом случае больше нетерпения. Каждый сказал бы, что скорей всего Оливия, как ярая поклонница средневековья, поймет чувства средневекового безумца, а ее рыжеволосая подруга не станет даже разбирать — средневековье тут или нет, и увидит одно только безумие.

У Оливии были свои мечты. А сердце Розамунды стремилось к двум вещам: к простоте и к действию. Голова ее работала медленно: поэтому она любила простоту. Импульсы ее были быстрее: поэтому она любила действие.

Розамунда Северн по своим природным данным была достойна короны и, действительно, родилась под сенью короны, хотя и маленькой. Судьба определила ей жить на фоне великолепного пейзажа с рекой, террасами холмов и историческими развалинами, и средневековый маскарад, в котором она приняла участие, казался созданным для нее. В романтическом воображении библиотекаря она была принцессой как

в своем маскарадном костюме, так и в обычном модном платье. Если бы мистер Херн был более опытен, он разглядел бы тот же психологический тип не только в окружении зеленой долины и серого аббатства, но и в обстановке столов, пишущих машинок и скучной канцелярской работы. Женщины с таким же гармоничным лицом и такими же серьезными честными глазами встречаются в различных оболочках повсюду в современной жизни. Неземные мистеры Херны всегда находят себе поддержку в подобных честных и прямодушных женщинах. Повсюду эти молодые женщины всей душой отдаются идее и служат ей со всей присущей им честностью и прямоотой.

Розамунда не понимала широты Дугласа Мэрреля. Ее утомляло безразличие его умственного гостеприимства. Оно представлялось ей признаком пустоты и отсутствия определенных интересов. Она не могла понять, как он может одновременно быть интимным другом Оливии с ее средневековьем и Джона Брэнтри с его социализмом. Она любила людей, которые чем-нибудь заняты, а Мэррель совершенно отказывался чем-нибудь заняться. Но если кто обнаруживал готовность что-нибудь предпринять, то она даже забывала о критической проверке его предприятия.

И вот, совершенно неожиданно ее разуму открылось нечто простое и понятное для нее. Зажегся свет, за которым она могла послушно идти. Это было понятно для нее, потому что было связано с теми традициями, которые она привыкла чтить с детства. Отец никогда не надоедал ей своей геральдикой. Но она была так же

проникнута духом геральдики, как и сознанием того, что у нее есть отец.

Дочь лорда Сивуда была окружена ореолом в виде толпы молодых людей, увивавшихся за ней. Для такой популярности было тройное основание. Но надо отдать справедливость, что наиболее благородные из ее поклонников ухаживали за ней не потому, что она была богатая наследница, а потому, что она была красавица. Самые рассудительные ценили, однако, не ее красоту, а ее аристократическое происхождение и особенно то, что ухаживание за нею было прекрасным спортом. В конце концов она заставила всех плясать под свою дудку — даже тогда, когда пляска была совсем не модная. Так распространилась мода на «средневековье» — мода, которую молодые люди переняли от леди, а леди переняла от библиотекаря. Это была романтика, но в то же время и лозунг. Молодые люди все превращались в поэтов, хотя и плохих. С помощью Херна, как ученого, и Разомунды, как режиссера, они занялись эмблемами, знаменами и процессиями, представлявшими для современности гораздо более серьезный вызов, чем театральный костюм, который они сбросили, а Херн сохранил на себе. . . Особенно увлекались стрельбой из лука — может быть, по бессознательной ассоциации со стрелами бога любви.

Стрела, влетевшая в беседку, поразила лорда Сивуда, как гром из ясного неба. Прежде чем он успел усвоить, в чем дело, лорд Иден уже вытащил ее и развернул привязанный к ней документ. Оба лорда погрузились в его изучение. Тут говорилось возвышенным слогом о необходимости создать особый аристо-

кратический орден, с целью восстановить строгие рыцарские понятия, и доказывалось, что только призыв к древней доблести может создать достойный социальный порядок. Там объяснялось еще многое другое, но для двух пожилых джентльменов все-таки оставалось неясно, каким образом стрела попала в беседку.

Лорд Иден молчал. Он изучал документ с такой мрачной серьезностью, какой никак нельзя было ожидать. Но лорд Сивуд, после нескольких отрывочных восклицаний, покоряясь какому-то инстинкту, двинулся в том направлении, откуда влетела стрела. В конце аллеи он увидел кучку людей, вид которых ошеломил его так, как если бы это были ангелы с золотыми крыльями, окруженные сиянием.

Все были разодеты по моде, господствовавшей столетий пять назад. У некоторых был в руках лук. Но самое поразительное для лорда Сивуда было то, что во главе стояла его дочь в каком-то неприличном головном уборе, с двумя рогами, как у буйвола. И на лице ее была сияющая улыбка.

Он никогда не мог бы себе вообразить, чтобы вокруг него могли происходить подобные безумства. Ему показалось, что галстук его ожил и душит его, как веревка.

— Боже мой! — воскликнул он. — Что здесь происходит?

Он чувствовал себя в положении коллекционера, который видит, что орава мальчишек попадает камнями на вершок от бесподобной голубой китайской вазы. Он спокойно позволил бы перебить все фарфоровые вазы династии мингов, но не мог допустить ни

малейшего ущерба для своей коллекции премьер-министров. Эта беседка была для него так же священна, как китайский храм с духами предков. Ибо тут витали тощие духи политиков. Тут происходило множество совещаний, касающихся судеб империи. Характерно, что Сивуд любил обставлять тайной свои политические свидания. Он был слишком джентльмен, чтобы ему могло польстить сообщение в воскресной газете о посещении премьер-министром Сивудского аббатства.

Он бросил на ораву мальчишек гневный, исполненный презрения взгляд. Он едва заметил одно лицо, выделявшееся на общем фоне насмешливых лиц своей одухотворенной серьезностью. Это было фанатическое лицо библиотекаря. Прочие улыбались или смеялись. И это только усугубило гнев раздраженного аристократа. Это сделал какой-нибудь дурак из друзей Розамунды. Дрянные же у нее друзья!

— Надеюсь, вы заметили, — громко и холодно отчеканил он, — что вы едва не убили премьер-министра. Надеюсь вы выберете другую забаву.

Он повернулся и пошел в беседку, удержав себя, таким образом, в границах приличия перед незванными гостями. Но, когда он увидел в сумраке беседки остроносый профиль премьер-министра, все еще склоненный над роковой бумагой, бешенство его прорвалось наружу. В этом ледяном лице выразалось бесконечное презрение государственного человека к неприличной и в то же время чертовски меткой штуке.

Молчание премьер-министра было похоже на ледяную пропасть, куда могли сколько угодно падать все-

возможные извинения, не заполняя ее глубины и не вызывая никакого ответа.

— Я просто не знаю, что сказать, — проговорил в отчаянии лорд Сивуд. — Я готов выгнать их из дому, с девчонкой вместе. Все, что в моих силах. . .

Но премьер-министр не поднял глаз от бумажки, которая была у него в руке. Он то хмурил брови, то слепка приподымал их, но губы его оставались неподвижными.

Лордом Сивудом вдруг овладел ужас, причину которого он сам не мог как следует осознать. Ему показалось, что он нанес оскорбление, которого нельзя искупить даже кровью. Молчание било его по нервам.

— Бога ради, перестаньте читать эту пакость, — отрывисто сказал он. — Я знаю, что это страшно глупо и смешно, но мне-то не смешно, — ведь это случилось в моем собственном доме! Я не могу допустить, чтобы оскорбляли моих гостей. Скажите, что вы хотите, и я сделаю.

— Так, — сказал премьер-министр и положил записку на маленький круглый столик. — Вот она, наша последняя надежда!

— Что? — переспросил взволнованный собеседник.

— Наша последняя надежда!

В темной беседке неожиданно наступила полная тишина. Слышалось только жужжание мухи, да изда- лека доносились голоса бунтовщиков. Тишина наступила случайно, но в душе Сивуда она возбудила негодование, как будто она решала их судьбу и надо было во что бы то ни стало ее нарушить.

— Что вы хотите сказать? — спросил он резко. — Какая последняя надежда?

— Та надежда, о которой мы сейчас говорили, — ответил политик с мрачной улыбкой. — Разве я говорил не об этом самом перед тем, как эта штука влетела сюда, подобно голубю с оливковой веткой? Разве я не говорил, что у нас должно создаться что-то новое, если наша бедная империя совсем обветшала? Разве я не говорил, что мы должны противопоставить Брэнтри и всей демократии что-то новое? Так вот оно и есть.

— Что вы такое говорите? — спросил Сивуд.

— Я говорю, что мы должны их осадить! — крикнул премьер-министр, хлопнув рукой по столу с энергией, неожиданной для его мрачного, сухого характера. — Их надо осадить лошадьми, пехотой, артиллерией или, лучше всего, фунтами, шиллингами, пенсами. Надо дать такую сдачу, какой они еще не получали. Наконец-то смешаются ряды врагов и можно будет пустить кавалерию в атаку! И чем раньше, тем лучше. Где эти люди?

— Неужели вы думаете, — воскликнул удивленный Сивуд, — что можно к чему-нибудь применить этих дураков?

— Предположим, что они дураки, — ответил Иден. — Но я то не дурак, и знаю, что нельзя обойтись без дураков.

Лорд Сивуд сдержался, но не сводил с премьер-министра пристального взгляда.

— Вы хотите сказать, что новая полиция, общественная или, вернее, анти-общественная. . .

— И то, и другое, если хотите, — ответил тот.

— Мне кажется, — сказал лорд Сивуд, — что публика вряд ли заинтересуется этой антикварной теорией рыцарства.

— Думали ли вы когда-нибудь, — спросил премьер-министр, смотря через плечо, — о значении слова «рыцарство»?

— Вы хотите сказать... в переносном смысле? — спросил другой аристократ.

— В конском смысле, — ответил Иден. — Если что, действительно, производит впечатление, так это человек на коне. Пускай даже лошадь не по росту всадника. Дайте народу все виды спорта — турниры, скачки, *panem et circenses*. Друг мой, это привлечет народ на сторону полиции. Если бы мы могли мобилизовать Дерби,¹ то предотвратили бы потоп, который должен наступить после нас.

— Я начинаю вас понимать, — сказал Сивуд.

— Я хочу сказать, — ответил его друг, — что демократия гораздо больше обратит внимания на конское неравенство, чем на людское равенство.

Быстро переступив через порог, он пошел по саду походкой молодого человека. Лорд Сивуд не успел еще двинуться с места, как в отдалении раздался уже звонкий, подобный рожку, голос премьер-министра, произносившего речь так, как это делали великие ораторы пятьдесят лет назад.

Так библиотекарь, отказавшийся от перемены одежды, создал план перемены во всем государстве. Ибо

¹ Дерби — скачки близ Лондона.

из этого ничтожного события выросла целая реакционная революция, пытавшаяся повернуть вспять ход истории. Как и все английские революции, особенно консервативные, и эта революция тоже стремилась укрепить отжившие силы. Некоторые консерваторы, из старичков, говорили даже о конституционном ниспровержении конституции. Монархический строй не только удерживался, но и поддерживался. Новая власть была разделена между несколькими подчиненными монархами, управлявшими провинциями Англии на правах наместников и называвшимися, по вкусу времени, боевыми королями. Они командовали отрядами молодых людей, принадлежавших к рыцарским орденам и служивших чем-то в роде добровольческой милиции. У них были высшие и низшие суды, построенные согласно изысканиям мистера Херна в области средневекового права. Это был не только пышный маскарад и не только мода. Модой это сделалось с того момента, как выступил мистер Юлиан Арчер (теперь сэр Юлиан Арчер) согласно постановлению нового рыцарского ордена. Юлиан Арчер некогда написал довольно ребяческую авантюрную повесть о битве при Азинкуре. Это было одним из многочисленных проявлений его разнохарактерной деятельности, составивших ему блестящую карьеру. Но сейчас Арчер все чаще и чаще стал настаивать на своей инициативе в этом деле.

— Меня не стали бы слушать, — говорил он, печально качая головой. — Да это было и преждевременно... Конечно Херн очень начитанный человек. Книги — его специальность. Он, конечно, просматри-

вает все книги, выходящие в свет. И у него достаточно чутья, чтобы уловить новую мысль. . .

— О, — ответила Оливия Эшли, удивленно поднимая свои черные брови. — Мне это не приходило в голову.

И она грустно стала размышлять о своей собственной страсти к средневековью, над которой прежде все смеялись и которую переняли от нее, забыв о первоначальном источнике.

Такая же перемена произошла и с престарелым рыцарем сэром Альмериком Вистером. Галантный эстет, толкавшийся по гостиным и превозносивший предшественников за то, что они превозносили великие примитивы, теперь стал еще больше напирать на великих предшественников. Но так как в прошлом он оказывал покровительство Чимабуэ и снисходительно одобрял Джотто и Боттичелли, то теперь ему нетрудно было убедить себя, что он пророк, ненапрасно возвещавший пришествие средневекового Мессии — мистера Херна.

— Мой дорогой сэръ, — конфиденциально говорил он, — что это были за грубые вандалские времена! Не понимаю, как я мог тогда существовать. Но я продолжал долбить свое, и, как видите, мои усилия оказались не совсем бесплодными. Исчезли бы самые образцы всех этих костюмов. Если бы не я, не сохранилось бы ни одной картины из тех, с которых теперь берутся узоры. Это лишний раз показывает, что значит вовремя сказанное слово.

Сам лорд Сивуд не остался чужд общему настроению. Нечувствительно переместился центр тяжести между его двумя основными интересами. Теперь он

больше напирал на свои частные занятия геральдикой и меньше говорил о Парламенте. Он выдвигал на первый план уже не величие лорда Пальмерстона, а величие Черного Принца, от которого происходил род Сивудов.

Во всей этой обстановке только Херн оставался таким же, как раньше. Он был чужд честолюбия и не сознавал своей славы. Если он мог пройти в конец парка, то что мешало ему пройти в конец мира? Он не видел никакой разницы масштабов. Он заставил всех своих друзей надеть маскарадный костюм и, вооружившись копьем Робина Гуда, стал во главе движения. Переход от одиночества к положению вождя казался ему победой. Но переход от положения вождя в домашней игре к положению общественного вождя остался для него как будто незамеченным. Ибо в домашней игре все было сосредоточено на одном женском лице, переменчивое выражение которого он также привык наблюдать, как восход и заход солнца.

ГЛАВА XIV.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАНСТВУЮЩЕГО РЫЦАРЯ.

Когда, под давлением Брэнтри и его синдикалистов, начались всеобщие выборы, мистер Микель Херн отправился на избирательный пункт подавать голос. Он долго оставался в избирательной камере, погруженный не то в какие-то таинственные манипуляции, не то в молитву. Повидимому, он раньше никогда не голосовал, так как это не входило в число палео-хеттитских обычаев. Но, когда ему объяснили, что он только должен поставить на бюллетене крест против имени избираемого кандидата, он пришел в восторг. Палео-хеттитский период уже отошел для него в далекое прошлое и растаял во тьме веков, и теперь его дни и ночи были поглощены средневековьем. Однако он нашел время и для несколько механической процедуры современного голосования, хотя мог бы употребить его на рисование лука или головы сарацина. Арчер и его коллеги проявляли нетерпение, но ничуть не удивлялись его таинственному исчезновению в избирательной камере. Они стали колотить в дверь ногами и, наконец, ворвались внутрь. Глазам их представилась длинная, неподвижная спина, склоненная точно в исповедальнике.

Пришлось без всякой деликатности нарушить покой гражданина, беседовавшего наедине со своим долгом, подойдя к нему сзади и дернув его за фалды. Но так как это не произвело ни малейшего впечатления, то пришлось прибегнуть к анархическому поступку, а именно заглянуть через плечо Херна. Оказалось, что перед ним на маленькой скамеечке, как на рисовальном столике, разложены были иллюстрационные краски (должно быть, взятые заимообразно у мисс Эшли) — золотые, серебряные и всех цветов радуги. Вооружившись ими, он исполнял свой демократический долг с самоотверженным терпением. Ему сказали, что надо поставить крест, — и он рисовал его, как какой-нибудь средневековый монах, светлыми и сияющими красками. Крест был золотой. С одной стороны были изображены три голубых птицы, с другой — три красных рыбы, потом растения, планеты и так далее. Рисунок был, видимо, построен по образцу «Песни мироздания» святого Франциска Ассизского. Он был крайне изумлен, когда услышал, что при баллотировке ничего подобного не требуется. Но сдержался и издал только слабый вздох, когда официальные лица, заведывавшие подсчетом голосов, объявили, что его голос уничтожается, так как он «испортил» бюллетень.

Толпа, ожидавшая на улице, была в возбуждении. Эти выборы напоминали те, которые происходили во время войны. Но теперь дело шло о революции. Великая забастовка охватила рабочих всех красильных производств. К ней присоединились забастовки сочувствия в угольных предприятиях. Главная квартира была в Милльдайке, а вождем движения был Джон Брэнтри.

Это была не местная забастовка, не одна из тех стачек, на которые привыкли ворчать господствующие классы. Это была забастовка всеобщая, вызывавшая яростные вопли ненависти и страха.

В то время, как Херн в монастырской келье избирательного пункта занимался средневековым рисунком, Брэнтри наполнял площадь Милльдайка громopodobными звуками одной из своих самых блестящих речей. Эта речь была сенсационна как по содержанию, так и по форме. Раньше он требовал того, что он называл признанием. Теперь он требовал контроля.

— Ваши хозяева говорят вам, — ораторствовал он, — что вы грубые материалисты, жаждущие только прибавки заработной платы. Они правы. Ваши хозяева говорят вам, что у вас нет идеалов, нет честолюбия и инстинкта власти. Они правы. Они считают вас рабами и выючным скотом, потому что вы уничтожаете склады и уклоняетесь от ответственности. Они правы. Они будут правы до тех пор, пока вы будете требовать только пищи и хорошей платы за труд. Но покажем нашим хозяевам, что мы поняли те уроки морали, которые они с такой добротой преподали нам. Придем к ним с покаянием. Скажем, что хотим исправить свою ошибку, что у нас тоже есть честолюбие и что мы теперь стремимся к власти. Скажем, что у нас есть идеал — та же власть, и что мы с радостью готовы взять на себя ответственность управления тем, что они забросили, что мы желаем поделить между нами, рабочими, демократическое управление промышленностью, которая служила только для того, чтобы обеспечивать нескольким паразитам роскошную жизнь в их дворцах и парках.

После этой речи были прерваны все сообщения с Милльдайком, и между Брэнтри и теми дворцами и парками, о которых он говорил, разверзлась бездна. Требование, чтобы рабочие взяли в свои руки управление фабриками, сплотило около него огромные массы народа, не имевшего ничего общего с этими дворцами и парками. Это было так резко и революционно, что люди, не подготовленные к революции, не могли этого поддерживать. А настоящие революционеры редки. Друг Розамунды, Хэрри Хэнбери, очень милый и рассудительный эсквайр, выразил общее мнение так: «Уверяю вас, я стою за высокую заработную плату и как своему шофферу, так и лакею стараюсь платить как можно больше. Но «рабочий контроль» хочет, чтобы шоффер вез меня в Маргэйт, когда мне нужно в Манчестер. Лакей отлично чистит мне платье. Но «рабочий контроль» требует, чтобы я надел желтые брюки и розовый пиджак, если ему вздумается мне их подать».

На следующей неделе прошли две враждебные друг другу выборные кампании. Во вторник Херн узнал, что Брэнтри выбран огромным большинством рабочих голосов. А в четверг сам этот мечтатель, ослепленный своим внутренним светом, получил весть, что при общем ликовании и громе аплодисментов он сам советом ордена выбран верховным сенешалом над всей западной частью страны.

В каком-то сне наяву мистер Херн был эскортирован к высокому трону, воздвигнутому на зеленой лужайке Сивудского парка. По правую руку от сенешала стояла Розамунда Северн, дама некоего нового

ордена, державшая щит чести, сделанный в форме сердца и украшенный львом. Щит этот предназначался лучшему рыцарю, совершившему самый смелый подвиг. Розамунда стояла как статуя. Трудно передать, как энергично она распоряжалась, подготавливая церемонию, и как это было похоже на ее хлопоты перед спектаклем. По левую руку стоял, сохраняя полную серьезность, ее друг, молодой эсквайр, исследователь, которого она однажды представила Брэнтри. Он носил свой геральдический мундир так же естественно, как шотландский костюм. Он держал меч святого Георгия рукояткой кверху, ибо Микель, в одном из своих мистических фрагментов, сказал: «Человек недостойн носить меч, пока не научится держать его за лезвее. Его рука может истекать кровью. Но только тогда видит он крест».

Херн сидел на троне, возвышаясь над этой пестрой толпой, и взор его витал над холмами. Так многие фанатики витали в облаках, пренебрегая превратностями земных событий. Так Робеспьер в своем голубом камзоле шествовал на праздник Высшего существа. Лорд Иден, увидав эти светлые глаза, сияющие, как тихая гладь озера, пробормотал: «Он сумасшедший. Как опасно для неуравновешенных людей осуществление их замыслов. Но сумасшествие одного может спасти здоровье целого общества».

— Ну!—воскликнул Юлиан Арчер, оживленно размахивая обнаженным мечом.— Какой великий день! Весть о нем огласит весь мир. Вот это, действительно, дело! Брэнтри и его бездельники разбегутся как крысы.

Розамунда попрежнему стояла с застывшей улыбкой как статуя. Но Оливия, находившаяся позади, была мрачна как ночь. Вдруг она заговорила, и ее голос зазвенел как сталь.

— Он не бездельник, — сказала она. — Он инженер. И гораздо образованнее вас. Что вы такое, уж если на то пошло? Я думаю, что инженер ничем не хуже библиотекаря.

Настало мертвое молчание. Арчер развел руками и посмотрел вверх, как бы ожидая, что небо треснет от такого кощунства. Но большинство леди и джентльменов смотрело вниз, на свои остроносые средневековые туфли. Они понимали, что это хуже, чем кощунство. При данных обстоятельствах это было просто дурным тоном, выскакивавшим из всех рамок приличия.

Все уже сошли с мест и смешались между собой, но сенешал все еще не покидал своего трона. Он не замечал женщины, которая его только что оскорбила, как будто ее и не было. Но вдруг он поднял глаза на Юлиана Арчера, и какой-то невольный трепет подсказал каждому, что государственная власть в данный момент есть реальность, хотя бы для одного человека.

— Сэр Юлиан, — сурово сказал сенешал, — вы ошибочно толкуете книги о рыцарском служении. Вы не понимаете, что мы вернулись к тем прекрасным дням, когда джентльмену возбранялось хвалиться охотничьей добычей. Дух же нашего времени таков, что царственные звери могут преследовать и убивать охотников. Могучий боров и благородный олень. Мы умеем уважать своих врагов, даже если это звери. Я знаю

Джона Брэнтри. Во всем мире нет человека храбрее его. Неужели мы будем сражаться за свою веру и издеваться над ним за то, что он сражается за свою? Идите и убейте его, если посмеете. А если он убьет вас, то вы будете так же прославлены своей смертью, как теперь обещены своим языком.

Все были ошеломлены. Он заговорил так внезапно и так непосредственно! Это было похоже на полное перевоплощение. Так мог говорить Ричард Львиное Сердце царедворцу, назвавшего трусом Саладина.

Но среди безмолвной толпы произошло одно движение, которое поразило бы многих, если бы оно было замечено. Бледное лицо Оливии Эшли вдруг покрылось румянцем и из уст ее вырвался не то крик, не то стон:

— Ах, теперь я вижу, что в самом деле началось!

И она легкой походкой присоединилась к пестрой толпе, как будто какая-то тяжесть свалилась с ее плеч. Она точно прозрела и только сейчас увидела весь этот живописный маскарад, осуществлявший ее прежние мечты, и уже без всяких сомнений приняла в нем участие. Ее темные глаза загорелись, как от радостного воспоминания.

Спустя некоторое время она отыскала Розамунду и заговорила с ней тихим голосом, как бы поверяя секрет.

— Он действительно так думает! Он действительно понимает. Он не сноб и не хвастун. Он в самом деле верит в добрые старые дни... и в добрые новые дни.

— Конечно, он в это верит! — с возмущением воскликнула Розамунда. — Верит и так поступает. Если бы ты знала, что это было для меня, когда я увидела,

что действительно что-то делается — после всех этих разговоров вообще: Обезьяны, Юлиана и прочих. И он совершенно прав. Пусть смеются, кто хочет. Красивые платья не так смешны, как уродливые. Ведь мы должны были бы умереть от смеха, глядя на мужчин в брюках!

И она продолжала свою защиту со всей страстностью молодой женщины, повторяющей чужие мнения.

Оливия смотрела между тем на длинную белую дорогу, которая вилась к закату, как бы прорезывая твоим серебром медь и золото неба.

— Однажды меня спросили, верю ли я в возвращение короля Артура, — проговорила она. — И вот в такой вечер, как сейчас. . . представляешь себе, как мы изумились бы, если бы на дороге показался какой-нибудь рыцарь Круглого Стола, приносящий нам весть от короля?

— А вот смотри! Как раз кто-то едет. И, кажется, даже на лошади.

— Как будто за лошадью, — тихо сказала Оливия. — Солнце слепит мне глаза. В самом деле какая-то повозка романского типа. Ведь король Артур был романской расы?

— Очень странная повозка, — сказала Розамунда, и ее голос тоже дрогнул.

У странствующего рыцаря Круглого Стола, действительно, был странный экипаж. По мере своего приближения он стал принимать формы полуразвалившегося извозничьего кэба. На верхушке его возвышался возница в полуразвалившейся шляпе. Он поднял с веж-

ливым приветствием свой головной убор и открыл неприятительные черты Дугласа Мэрреля.

Дуглас Мэррель, сделав таким образом приветствие всему обществу, снова нахлобучил, несколько набекрень, свою замечательную шляпу и спрыгнул с извозничьего кэба. Нелегко прыгать с кэба, сохраняя серьезность осанки и изящество движений. Но мистер Мэррель произвел это с ловкостью опытного акробата. Шляпа свалилась, но он, проворно подхватив ее, немедленно направился к Оливии Эшли и сказал, ни мало не смущаясь:

— Так вот. Я достал вам то, что вы хотели.

Все смотрели на его воротничок, галстук и брюки, подозрительный вид которых бросился в глаза, когда он прыгал с кэба, с тем веселым ощущением, какое бывает, когда кто-нибудь появится в необычном старинном одеянии. Все испытывали то же, что и сам Мэррель, когда он впервые увидел извозничий кэб.

— Обезьяна! — задыхаясь закричала Оливия. — Где вы пропадали все это время? Вы ничего, ни о чем не слышали?

— Пришлось немного постранствовать, чтобы найти эти краски, — скромно сказал Мэррель. — Кроме того, купив кэб, я на время стал извозчиком. Но все же я достал краски.

Только проговорив это, он заметил странную картину, окружавшую его. Впечатление было такое, как у янки, очутившегося при дворе короля Артура, если только можно сравнить с янки такого истого англичанина, как Мэррель.

— Краски в кэбе, — сказал он — Но я вполне уве-

рен, что это именно то, чего вы хотели... Неужели здесь все еще играют вашу пьесу? Назад к Мафусаилу — а? Я знаю, перо у вас плодовитое, но если пьеса тянется месяцами...

— Это не пьеса, — сказала она, не сводя с него взгляда. — Началось с пьесы, но теперь это давно уже не игра.

— Весьма жаль, — сказал он. — Это было очень весело. Но в этом была и серьезная сторона. Что, премьер-министр здесь? Мне сказали, что его ждут. Я хотел бы повидаться с ним.

— Ах, я не могу рассказать всего в одну минуту! — воскликнула она с досадой. — Разве вы не знаете, что никаких премьер-министров и вообще ничего подобного здесь больше нет. Теперь всем заправляет сенешал.

И она сделала отчаянный жест в сторону властелина, который продолжал сидеть на своем высоком троне — должно быть, потому, что забыл сойти с него. Та же причина некогда задержала его на верхней полке книжного шкафа в библиотеке.

Дуглас Мэррель отнесся ко всему с большим присутствием духа. Может быть, у него еще был жив в памяти инцидент в библиотеке. Поведение его относительно властелина было корректно до последних мелочей. Он слегка склонился и потом нырнул во внутренность кэба. Когда он появился снова, в одной руке у него был пакет, в другой шляпа. Так как ему трудно было развернуть пакет одной рукой, то он повернулся к трону с подобающими извинениями.

— Простите меня, государь, — медленно сказал

он. — Моя фамилия, кажется, пользовалась древней привилегией не снимать шляпы в присутствии короля? Я уверен, что нечто подобное было нам даровано после того, как мы безуспешно пытались спасти принцессу из Башни. Вы видите, как мне неудобно держать шляпу. Но я ею очень дорожу и. . .

Если он ожидал со стороны восседавшего на высоком троне властелина хотя бы проблеска ответной шутки, то должен был быть сильно разочарован. Сенешал сказал с полной серьезностью:

— Можете надеть шляпу. В вежливости самое ценное — намерение. Я сомневаюсь в том, чтобы кто-нибудь действительно осуществлял эту привилегию. Один король сказал как-то такому привилегированному лорду: «В моем присутствии вы имеете право не снимать шляпы, но не в присутствии дам». Если ваша цель, как в данном случае, услуга даме, то форма может быть опущена.

И он обвел присутствующих рассудительным взглядом, как будто его логика должна была всех удовлетворить так же, как его самого. Дуглаэ Мэррель торжественно надел шляпу и принялся разворачивать бесчисленные бумаги, в которых были завернуты краски.

Когда, наконец, содержимое пакета было извлечено на свет, то все увидели стеклянный флакончик, запачканный и испещренный загадочными надписями и эмблемами.

Вручив флакончик Оливии, он мог убедиться, что его поиски не были тщетны. Когда она увидела старинный флакончик, широкую пробку, фабричную

марку с изображением рыб, ее глаза наполнились слезами, которых она сама испугалась.

Она как будто снова услышала голос отца.

— Где вы это достали? — проговорила она довольно непоследовательно, так как, давая поручение, просила только зайти в ближайший магазин в ближайшем городе.

И этот вопрос обнаружил весь тот пессимизм, который скрывался в основе ее археологических мечтаний. Она в глубине души не верила в возможность воскресения того, что она любила. Флакон красок возбуждал в ней веру — так же, как и нотация Херна по отношению к Арчеру. И то и другое было в ее глазах реальностью. Все эти церемонии и костюмы могли быть, как сказал Мэррель, пустой игрой, но иллюстрационные краски Хэндри были реальностью — такой же, как любимая в детстве кукла, найденная где-нибудь в саду.

Однако мало кто разделял чувства мисс Эшли. Никто не поразился тем, что Обезьяна, отправлявшийся в путь, как мальчик, по поручению, вернулся странствующим рыцарем. Все были увлечены собственным превращением — живописными складками своих одежд и их пестрыми цветами. Его вид вносил какую-то дисгармонию. Он дружески похлопывал свою лошадь, а это допотопное создание пыталось неуклюжим движением вернуть ему ласку.

— Как странно! — сказал с обычным пафосом Арчер молодому эсквайру, державшему меч. — Он даже не замечает, что нарушает стиль. Очень трудно

ладить с людьми, которые не чувствуют производимой ими дисгармонии.

Он мрачно замолчал и стал с беспокойством прислушиваться к диалогу, завязавшемуся между пришельцем и властелином на троне. Особенное беспокойство вызывал нелепый тон Мэрреля. Он обращался к лицу, соединявшему теперь функции премьер-министра и владельца замка, с насмешливой вежливостью, под которой скрывалась явная дерзость. Он пространно повествовал о своих приключениях и о том, как он добыл развалившийся кэб. Арчер слушал этот бесконечный монолог. Отчасти это походило на рассказ путешественника при дворе сказочного короля. Но, вслушавшись хорошенько, Арчер должен был отказаться от всяких романтических иллюзий. Обезьяна рассказывал действительную историю. Притом длинную историю. И страшно глупую, как показалось Арчеру. Он был в одном магазине, потом в другом магазине, или в другом отделе того же магазина. Потом отправился в трактир. Как это характерно для Обезьяны: рано или поздно он непременно попадет в трактир. И можно побиться об заклад, что скорее рано, чем поздно. И как будто нельзя спокойно выписать нужную вещь на дом! Затем следовал длинный пересказ нелепого разговора в трактире, сопровождаемый передразниванием старшей служанки, что было уже совсем неуместно. Потом он отправился гулять, неведь куда, и беседовал с каким-то извозчиком, неведь зачем. Потом впутался в историю с полицией приморского города. Всем, конечно, известна склонность Обезьяны к шуткам — но надо отдать ему справедливость: прежде

он не размазывал их до такой степени. Потом он сыграл еще какую-то штуку с доктором, на попечении которого находился сумасшедший, в результате чего запертым оказался не сумасшедший, а доктор. Как жаль, что там не разобрали, в чем дело, и не заперли Обезьяну. Но какое отношение имело все это к планам разгрома Брэнтри и социалистов, Арчер не мог понять. . . О, боже, история все еще тянется! Теперь уже появилась какая-то девушка. Этим-то, должно быть, все и объясняется, хотя Обезьяна разыгрывал всегда ярого холостяка. Но какого чорта изливать эти чувства сейчас, когда нужно приступить к церемонии Щита и Меча? И зачем сенешал слушает так внимательно, точно окаменев? Может быть, он замер от бешенства? Может быть, он спит?

Однако остальные, в том числе и молодой человек с мечом, отнеслись к тону Обезьяны с большею терпимостью. Они оказались не столь чувствительными к дисгармонии, как чересчур артистически настроенный даже в жизни Арчер. Одни улыбались, другие просто смеялись, хотя в границах приличия, как смеются в церкви. Никто не понимал ни смысла рассказа, ни его цели. Но те, кто лучше знали его, удивлялись необыкновенной пунктуальности его запутанного рассказа. Сенешал сидел неподвижно, как статуя, и никто не мог понять, оскорблен ли он смертельно или попросту совершенно оглох.

— Как видите, это болезнь, — заключил Мэррель уверенным тоном. — Но есть болезни и болезни! Я думаю, что болезнь бедного старого Хэндри случайная,

а болезнь того, другого доктора — прирожденная. И потому я не так уже каюсь, что запихнул того в камеру. И вообще это безразлично. Я вскочил на кэб и ускакал, так что ни один «бобби» не заметил. Вот и все.

Рассказ Мэрреля был встречен молчанием. Только статуеобразная фигура на троне пошевелилась, когда он кончил. Слова носителя королевской власти не были похожи на грома разгневанного бога: это было самое обыкновенное распоряжение официального лица.

— Прекрасно, — сказал сенешал, — дайте ему щит.

С этого момента движение выскользнуло из-под влияния сэра Юлиана Арчера. Впоследствии, когда произошла катастрофа, он говорил своим друзьям в клубе, что с самого начала был взят ложный путь и что он все предвидел. Но в самый момент происшествия он ничего не предвидел. Все вдруг выскользнуло у него из рук, как детский воздушный шар, который внезапно раздулся в настоящий и оборвал веревку.

Он грациозно сменил модный костюм на фантастический средневековый наряд. Но это было общим движением, уже не говоря об участии дочери аристократа. Соединить свой средневековый костюм с извозничьим кэбом и такой же шляпой было уже значительно труднее. Когда же Микель Херн вдруг поднялся на своем возвышении и заговорил строгим, гладким слогом, он не мог усмотреть в его словах ни логической, ни какой другой, хотя бы иллогической связи. Ему казалось, что он попал в какое-то царство бессмыслицы, где события совершаются без всякой последовательности. Можно

было понять только одно: что Херн охвачен безудержным гневом. Вид подобной шляпы, конечно, взбесит всякого. Но эта шляпа давно уже портила ландшафт, хотя сенешал не обращал на нее ни малейшего внимания. Теперь же началась полнейшая чепуха. Нельзя было понять, о чем волнуется Херн. Он рассказывал какую-то историю. Никому и в голову не пришло, что это та же самая история, которую только что рассказывал Дуглас Мэррель. Во всяком случае это была не та, которую слышал Юлиан Арчер.

Обычная медлительность жеста и произношения заменилась на этот раз быстрой речью, темп которой все ускорялся. Он говорил не переводя дыхания, как человек, который получил подзатыльник. Арчер понял только одно: это был рассказ о каком-то старике с дочерью. Эта дочь сопровождала старика во всех его странствиях и не покинула его даже тогда, когда его обобрали воры и начались черные дни. Арчеру представился при этом рассказ для воскресной школы с картинкой, изображающей бедно одетую дочь и старика с длинной седой бородой. На свете у них никого не было. Они были забыты всем миром. Они жили, никого не трогая. И все-таки какие-то злые, дикие люди отыскивали их в их дыре. Они осмотрели старика, как какое-то животное, и потащили его прочь как труп. Они с хохотом втоптали в грязь добродетель и надругались над цветами преданности.

— Вы, — возмущенно кричал носитель королевской власти отсутствующим врагам, — вы, протестующие против восстановления тронов и корон. Разве ко-

роли так поступали? Разве поступали так даже тираны? Разве о короле Ричарде известно что-нибудь подобное? Или даже о короле Джоне? Вам известно о феодальном строе все самое худшее. Вы знаете Иоанна Безземельного из популярных грошовых рассказов. Иоанна-изменника. Иоанна-тирана. Иоанна-преступника. В чем же состоят преступления Иоанна? В том, что он убил принца королевской крови. В том, что он порвал связь с аристократией. В том, что он вырвал зуб богатому и сытому банкиру. Может быть, в этом зубе была золотая пломба? Ах, как опасно было занимать в то время высокий пост! Опасно было быть принцем, аристократом, находиться поблизости стремительного урагана королевской ярости. Всякий, кто входил во дворец, рисковал своей жизнью. Он входил в логовище льва. Богатство возбуждало королевскую зависть и приносило людям несчастье. Счастье было несчастьем. Но видно ли было, чтобы тиран, бросив охоту, выворачивал камни и крал яйца насекомых, или лазал по лужам и отрывал головастика от лягушки? Была ли у них эта мелочная микроскопическая злоба, которая не может пропустить ни одного живого существа, чтобы не помучить его, которая преследует слабых и беспомощных больше, чем горбатых, которая подсылает шпионов, чтобы помешать любовным утехам подданных, и мобилизует армию, чтобы отнять ребенка от нищего. Короли, проезжая, бросали нищим или проклятия или монеты. Они не тратили своих забот на то, чтобы разорять маленькие семьи. Были приличные короли, которые ухаживали за нищими, как слуги, даже если это были прокаженные. Были и злые короли, дававшие

пинки нищим и давившие их по дороге, но они потом с ужасом вспоминали об этом в час смерти и оставляли деньги на мессы и милостыню. Но и они не заковывали человека в цепи только за то, что он слеп. А теперь заковывают старика за то, что у него есть своя теория слепоты к краскам. И вот этой-то паутиной горя вы оплели весь род человеческий, потому что вы слишком гуманны, слишком либеральны, слишком филантропичны, чтобы терпеть над своими особами королевскую власть. Вы нас обвиняете в том, что мы мечтаем о возвращении первобытной простоты. Вы осуждаете нас, когда мы говорим, что нельзя механизировать человечество, если человек не машина. А что восстает сейчас против нас, как не машина? Что может сказать нам Брэнтри, кроме того, что мы сантиментальничаем, не признаем науки, социальной экономической науки, той бессердечной научной логики, которая оторвала старика, как прокаженного, от всех, кого он любил? Позвольте нам ответить Джону Брэнтри, что мы не такие невежды. Позвольте ответить Джону Брэнтри, что мы достаточно знакомы с этой наукой. Что нам не нужно социального порядка с механическими ловушками и смертоносным лучом знания. Передайте это Джону Брэнтри. Все приходит к концу; и подобные вещи тоже пришли к концу. А для нас не может быть другого конца, кроме как начала. На заре новой жизни, пред собранием рыцарей, среди зеленых лесов Веселой Англии передаю щит человеку, совершившему в наши дни настоящий подвиг. Человеку, который отомстил за несправедливость и спас женщину от несчастья.

Он быстро сошел с трона, выхватил меч из рук стоявшего внизу человека и торжественно потряс им в воздухе. Оружие засверкало, как огненный меч библейского архангела. И над изумленной толпой прозвучали древние слова, которыми сопровождалось посвящение человека на служение добродетели и на защиту вдов и сирот.

ГЛАВА XV.
НА РАСПУТЬИ.

Оливия Эшли покинула собрание. Она была еще бледнее, чем раньше. Бледность ее происходила не только от волнения, но и от боли. Ей был брошен какой-то вызов. Она чувствовала необходимость совершить выбор.

Она почувствовала, что больше не может вести пустых романтических переговоров с врагом, а должна открыто перейти на его сторону. Но перейти на его сторону, это значило навсегда. Надо было выяснить, что она оставит позади. Если бы речь шла только о мнении света, то она не поколебалась бы. Но тут был вопрос о всей нации, о патриотизме, о морали. Если бы новое националистическое течение было только антикварной редкостью, геральдическим спектаклем или той романтической реставрацией, о которой она некогда мечтала, то она легко покинула бы все это. Но теперь это было бы все равно, что бросить свое знамя на поле битвы. Не говоря никому ни слова, она вышла за ворота и направилась к городу.

Проходя по мрачным предместьям к еще более мрачному центру фабричного города, она почувствовала

себя в незнакомом мире. Она вдруг увидела, что рядом с ее миром находился мир, о котором она ровно ничего не знала.

Забастовка продолжалась уже около месяца. Оливия и ее друзья считали ее революцией. Руководила ею малочисленная, но сплоченная группа левых социалистов коммунистов. Однако Оливию смущала не самая революция, а то, что она совершенно не совпадала с тем представлением, которое ассоциировалось у нее со словом революция. По глупым фильмам и мелодрамам на тему о французской революции, она представляла себе революцию в виде ревущей толпы полуголых демонов. Всю жизнь она слышала о политике, но никогда ею не интересовалась. Все, что было не премьер-министр, не парламент, не министерство иностранных дел или торговли, казалось ей революцией. Но, когда она очутилась среди рабочих, толпившихся кучками на улице и около официальных учреждений, перед ней забрезжила совершенно иная правда.

Здесь был свой премьер-министр. И это был знакомый ей человек. Здесь был парламент, о котором она не имела понятия. Здесь было министерство торговли, о котором она никогда не слыхала. Здесь были правительственные органы, которые были против правительства. Здесь была бюрократия. Здесь была иерархия. Здесь была армия. Система эта имела свои положительные стороны и свои недостатки, но она совсём не походила на полную ужасов французскую революцию в кино. Кругом назывались разные имена, точь-в-точь как в ее обществе назывались имена политических деятелей. Обнаружилось, что она не знает никого из

них, кроме Брэнтри. Имена Джимсона, Хэтчинса, Неда Бруса были ей совершенно неизвестны. О Брэнтри говорили как о главном лидере. Некоторые критиковали его действия, и это было ей неприятно. И она радовалась, когда слышала одобрения по его адресу. Хэттона, которого в газетах изображали главным подстрекателем красных, бранили за чрезмерную осторожность. Говорили даже, что он состоит на жалованьи у капиталистов.

Весь этот огромный исторический переворот был раньше скрыт от Оливии каким-то занавесом. Этим занавесом был большой лист газетной бумаги. Она не понимала отличий между группами трэд-унионистов. Не знала ни ошибок трэд-унионов, ни тех людей, которые руководили массами, столь же многочисленными, как армии Наполеона. Она узнала неуклюжую фигуру приятеля Обезьяны — кучера с омнибуса. Он слушал ораторов и по выражению его широкого, сияющего и добродушного лица можно было заключить, что он согласен со всем, что бы ни говорили. Если бы она была более осведомлена в политике, то поняла бы угрожающее значение присутствия этих ленивых, добродушных англичан среди суровой толпы рабочих. Но через минуту она забыла о них. Войдя в какое-то официальное учреждение, она вдруг услышала в коридоре голос Брэнтри, и через минуту он торопливо вошел в комнату, где она находилась.

Оливия мигом отметила в нем каждую деталь, все, что она так любила в его наружности, и все, что ей так не нравилось в его одежде. Несмотря на свое возвращение в революцию, он не отрастил себе бороды.

Он был такой же худой, такой же энергичный и сильный, как всегда. Увидав ее, он окаменел от удивления. Озабоченное выражение мгновенно исчезло с лица, и в глазах осталась одна сияющая печаль. Ибо заботы — это только заботы. Но печаль составляет всегда оборотную сторону радости. Что-то заставило ее встать и заговорить с необычной простотой.

— Что мне сказать? — начала она. — Я думаю, что нам нужно расстаться.

Таким образом впервые было высказано признание, что они прежде были близки.

Они так хорошо изучили друг друга, что по замечанию о Конфуции отлично могли вывести заключение о мнении собеседника по вопросу о кулинарии. Между ними не могло быть недоразумений, и в эту минуту они хорошо поняли друг друга.

— Бог мой, — сказал Брэнтри со вздохом.

— Вы только говорите, — сказала она. — И я это чувствую.

— Если бы я не любил вас, я мог бы солгать, — сказал он с грустной улыбкой.

И опять ни один из них не заметил впервые произнесенного слова «любовь».

— Вы верите в Херна и в его рыцарство? — спросил он.

— Я никогда не верила, пока он не объявил, что верит в ваше, — ответила она.

— Очень мило с его стороны, — серьезно сказал Брэнтри. — Он хороший человек. Но я боюсь, что его комплименты принесут мне много вреда в моем соб-

ственном лагере. В глазах народа многие слова превратились в зловещие символы.

— Я многое могла бы ответить вашему народу, — сказала она. — Ваши друзья обвиняют женщин в несамостоятельности. А много ли жен социалистов выступает против социализма? Много ли женщин голосует против своих мужей? Девять десятых революционеров попросту идут за мужчинами. А я независима. Я думаю сама за себя и не пойду за революционным мужчиной.

Наступило долгое молчание. Брэнтри приблизился на шаг и сказал:

— Я был бы очень несчастен, если бы, действительно, таков был логический вывод. Но реальность не опровергается логикой. Неужели нет выхода вне логики?

Брэнтри хорошо знал Оливию. Он знал, что вера во что-нибудь невозможна для нее без жертвы. Если бы она последовала за ним, то боролась бы за его дело до последней капли крови. Но она не хочет помогать ему. Это был давнишний антагонизм, обнаружившийся еще при первой встрече в комнате Сивудского аббатства. Но этот антагонизм ослаблялся всем тем хорошим, что они знали друг о друге. Брэнтри не мог заставить себя презирать ее мнения. Он любил одновременно «и друга и истину».

На темных улицах густела толпа. Говорили о предательстве, негодовали на проволочки. Необходимы были какие-нибудь действия или события.

Новые правители назначили особое судилище для ликвидации руководимой Брэнтри забастовки. Члены рыцарской организации вплотную взялись за создавшийся индустриальный конфликт. И было возможно, что при их пылкой энергии им это удастся скорей, чем старым профессиональным политикам с их привычкой к полумерам и компромиссам. Забастовка должна быть прекращена. Новые правители законно требовали этого. Брэнтри и забастовщики столь же законно протестовали.

В этот вечер должен был состояться большой митинг. На балконе, встреченный бурей приветствий, показался Брэнтри.

— В течение ста лет, — сказал он, — нам долбили об уважении к конституции: к королю, Палате лордов. . . и даже к Палате общин. (Смех.) От нас требовали, чтобы мы были идеальными конституционалистами и покорными верноподданными и принимали всерьез короля и лордов. Однако, если нашим противникам пришла в голову фантазия опрокинуть конституцию, то им милостиво разрешили удовольствие революции. Они могли в двадцать четыре часа опрокинуть все правительство Англии и объявить нам, что теперь нами управляет не конституционная монархия, а костюмированный бал. Где этот король? Кто король? Я слышал, будто это библиотекарь, интересующийся культурой хеттитов. (Смех.) Нас призывают объяснить перед этим революционным трибуналом (одобрение), почему в течение сорока лет беспощадной провокации мы не находили исхода в революции. (Громкое одобрение.) Мы оставим в покое этот древний рыцарский

орден, которому десять недель от роду. Но мы не намерены слушать их. Мы не подчинились бы и законному правительству тори. И мы не подчинимся торизму незаконному. И если эта антикварная лавка зовет нас на суд, то мы ответим двумя словами: не придем.

Между Брэнтри и Херном была та разница, что первый всегда знал, чего он хочет, а второй витал в облаках.

Брэнтри сразу же после первой встречи с Оливией почувствовал нелепость их отношений. Бледное, одухотворенное лицо Эшли с острым приподнятым подбородком врезалось клином в его мир, как вражеский меч. И он ненавидел ее мир тем сильнее, чем глубже ощущал невозможность ненавидеть ее самое.

Не то у Микеля Херна. Весь процесс шел у него обратным порядком. Он даже не заметил, под чьим личным влиянием возникла у него идея реставрации. Он не чувствовал в себе ничего, кроме непрерывно возраставшей радости. Мир расширялся, как солнечный восход, как прилив. Все казалось праздником. Праздник превратился постепенно в торжество в честь какого-то бога. Но где-то в глубине души теплилось сознание, что это не бог, а богиня. Жизнь его была почти совершенно лишена личных привязанностей. Поэтому, захваченный с ног до головы личным чувством, он не сознавал, что оно личное. Ему казалось, что он вдохновлен каким-то собирательным существом, чем-то в роде роя неземных существ. Но если бы Розамунда Северн вдруг поссорилась с ним или бросила всю затею, он немедленно сообразил бы, в чем состоит его истинное увлечение.

Весть о дерзкой выходке Брэнтри подействовала угнетающим образом на романтическое настроение сивудской организации, но Розамунду Северн она привела только в ярость. Ее бесила забастовка, прежде всего, как заминка. Потеря времени волновала ее больше, чем принципиальная сторона. Настоящая опасность женской политики заключается в ее давлении на мужскую политику. На свете, к несчастью, существует много таких Розамунд. Разговоры кругом только возбуждали ее нетерпение, хотя ее друзья еще более были предубеждены против Брэнтри, чем она сама. Но они не реагировали так, как, по ее мнению, следовало бы реагировать на дерзость. Отец пространно разъяснял ей истинное положение вещей, и утверждал, что ему ничего не стоило бы усювестить бунтовщиков и направить события по надлежащему руслу, если бы не Брэнтри. Но Розамунда сомневалась в том, что его слова могут вызвать какое-нибудь раскаяние, так как сама испытывала от них одно утомление. Лорд Иден был более краток, но столь же самонадеян в своих объяснениях. Он говорил, что время покажет, и высказывал свои соображения относительно экономической подкладки бунта. Умышленно или нет, но он не упоминал о новой общественной организации, созданной при его содействии. Какая-то тень упала на весь блестящий боевой строй. За парком, за вратами рыцарского рая, лежало современное чудовище — большой черный фабричный город, с дерзкой насмешкой выбрасывавший дым в небо.

— Все скисли, — жаловалась Розамунда всеобщему поверенному Обезьяне. — Расшевелите их как-нибудь.

И это после всех этих размахиваний флагами и трубных звуков.

— Да, — нерешительно сказал Мэррель. — Все это называется моральным подъемом или попросту блёфом. Попробуйте счастья и приставьте каждого к флагу. Впрочем, в битву с флагами итти неудобно.

— Да вы не знаете, что сделал Брэнтри! — возмущенно воскликнула она. — Он бросил вызов всем нам... и законному властителю.

— Что же ему оставалось делать? — сказал Мэррель. — Если бы я был на его месте...

— Но вы не на его месте! — горячо прервала она. — Вы не можете быть на месте бунтовщика и забастовщика. И вообще не пора ли вам, Дуглас, найти себе собственное место?

Мэррель устало улыбнулся.

— Я вижу, — сказал он, — обе стороны вопроса. И как вы, кажется, когда-то говорили, это достигается тем, что я обхожу его кругом.

— А я, когда встречаю человека, который видит обе стороны вопроса, — прокричала она в ярости, — то испытываю желание вколотить ему по гвоздю в обе стороны головы.

Она понеслась ураганом мимо террас и полянок в старый сад, где когда-то разыгрывалась пьеса «Трубадур Блондель».

Среди зелени покинутого театра стояла зеленая фигура покинутого отшельника. Подняв львиную голову с светлой копной волос, он смотрел по ту сторону долины — на дымящийся город.

Она застыла на мгновение, охваченная роем поэти-

ческих воспоминаний. В ее ушах снова зазвучала музыка, она вновь переживала ощущение спектакля, и это успокоило на время ее потребность в деятельности. Но она опомнилась, стряхнула с себя паутину этих чар и заговорила обычным твердым и решительным тоном:

— Вам известен ответ бунтовщиков? Они не желают итти на суд.

Он медленно перевел на нее свои близорукие глаза, и эта пауза обнаружила перемену, которую произвел в нем звук ее голоса.

— Да, я получил письмо, — кратко ответил он. — Оно было адресовано мне. Там ясно высказана их точка зрения, но все же на суд они явятся.

— Явятся! — воскликнула она. — Неужели вы воображаете, что Брэнтри уступит?

— Они явятся, — повторил он, кивнув головой. — Брэнтри не уступит, конечно. Я на это не надеюсь и, говоря откровенно, уважаю его за это. Это смелый и последовательный человек. Такого врага иметь приятно.

— Тогда я не понимаю вас! — ответила она. — Как же они не уступят и все-таки явятся?

— Новая конституция, — объяснил он, — предусматривает подобные случаи. Нам надлежит прибегнуть к праву принудительного привода. Не знаю, сколько людей потребуется для этого. Я думаю, хватит нескольких дружин.

— Как! — изумилась она. — Так вы их приведете на суд силой?

— Закон в этом пункте вполне ясен, — ответил

он. — По закону я являюсь только исполнительной властью, и потому не имею своей воли в этом деле.

— Никогда я не встречала таких людей, как вы, — проговорила она. — А вы бы послушали Обезьяну!

— Я ничего не предсказываю, — ответил он со свойственным ему педантизмом. — Это пока только предположение. Я не могу ручаться за действия других. Но или они явятся сюда или я больше сюда не явлюсь.

Ей вдруг стал ясен смысл его темной фразы, и она вздрогнула.

— Значит, будет сражение? — спросила она.

— Если они начнут его, — ответил он.

— Вы единственный... единственный настоящий мужчина! — проговорила она вспыхнув.

Он вдруг потерял самообладание.

— Вы не должны говорить мне этого, — проговорил он с отчаянием. — Я слаб. Слабее всех сейчас, — как раз когда я пытаюсь быть сильным!

— Неправда, — ответила она. — Вы сильнее всех.

— Я сумасшедший, — сказал он. — Я люблю вас.

Она онемела. Он схватил дрожащими руками ее пальцы.

— Что я делаю, что говорю? — воскликнул он горячо. — Сколько раз вы должны были слышать это от разных людей. Что вы ответите мне?

Она стояла, смело глядя ему в лицо.

— Я повторю то, что сказала раньше, — ответила она. — Вы единственный настоящий человек.

— Ваши глаза слепят меня, — сказал он.

Они больше не говорили. За них говорила земля, спускавшаяся вниз террасами и вновь подымавшаяся к угловатым очертаниям гор. За них говорил западный ветер, раскачивавший верхушки деревьев.

В темном дымном городе в это же время происходило грустное прощание Оливии и Джона Брэнтри.

ГЛАВА XVI.
СУД ВОЖДЯ.

Лорд Сивуд и лорд Иден сидели по обыкновению в беседке. Лица их были встревожены. Выражение лица лорда Идена могло быть двусмысленным, но лорд Сивуд качал головой с откровенной безнадежностью.

— Если бы они обратились ко мне за советом, то я совершенно ясно представил бы им всю безвыходность их положения, — говорил он. — Я затруднился бы подыскать параллель в опыте всей моей прошлой общественной деятельности. Реставрация этих прекрасных исторических форм, конечно, должна была встретить глубокое сочувствие всех культурных людей. Но то, что они надеются подавить таким способом чисто-материальные затруднения, противоречит всем прецедентам. . .

На пороге беседки появилась молчаливая фигура лакея. Он с поклоном протянул своему господину записку. При чтении ее прискорбное выражение лица лорда Сивуда сменилось крайним удивлением.

— Господи помилуй, — пробормотал лорд Сивуд, не сводя глаз с записки.

В записке, написанной крупным размашистым по-

черком, сообщалось о том, что ближайшие несколько дней произведут полный переворот в Англии, какого не производила ни одна из битв последних веков.

— Или наш молодой друг страдает галлюцинациями, — сказал он, наконец, — или.

— Или, — продолжал лорд Иден, смотря в потолок беседки, — или он захватил город Милльдаик с революционным штабом и ведет сюда зачинщиков на суд.

— Поразительно, — сказал другой аристократ. — У вас не было сведений об этом?

— Сведений я не получал, — ответил Иден, — но я считал это вполне возможным.

— Поразительно, — повторил Сивуд, — мне казалось это совершенно немыслимым. Такого сорта бутфорская армия. . . И с оружием, которое, как всем известно, давно вышло из употребления. . .

— Очень просто, — возразил Иден. — Так всегда рассуждают образованные люди. Они удовлетворяются номинальным признанием вещи и мало заботятся о том, есть ли она налицо. Человек отказывается от меча на том основании, что он не годится против ружья. А затем бросает ружья, как остаток варварства, и удивляется, когда варвар пронзает его мечом. Вы говорите, что пики и алебарды нельзя считать оружием. А я говорю, что пики прекрасное оружие, когда у противника нет ничего. Вы считаете, что это антикварный предмет. А я снабжаю деньгами тех, кто выделяет средневековое вооружение, так как оно может быть применено против людей, отрицающих всякое современное вооружение. Что делали все эти политические партии, как не отрицали оружие? Они отказы-

ваются от оружия, забывая о том, какую роль оно сыграло в истории. И, однако, они убеждены в своей безопасности, как будто их окружает пояс невидимых ружей, готовых выстрелить при первой тревоге. И так всегда. Они путают свою утопию, которая никогда не осуществится, со старой безопасностью былых лет, которая уже исчезла. Я нисколько не буду удивлен, если кучка воинов с бутафорскими алебардами собьет их с помоста. Я всегда держался того мнения, что для переворота совершенно достаточно ничтожной силы, если имеешь дело с безоружными. Но у меня никогда не хватало для этого моральной смелости. Для этого нужен человек совершенно иного склада, чем мы с вами.

— Правда, мы, может быть, слишком горды, чтобы вступать в драку, — заметил Сивуд.

— Да, — ответил старый государственный деятель, — дерутся те, что поскромнее. Я слишком испорчен для драки. Только невинные могут убивать, жечь и нарушать мир. Дерутся дети, — зато им принадлежит будущее.

Неизвестно, согласился ли с ними его старый приятель. Он устремил взор на ворота парка.

За воротами на дороге шумела восторженная воинская толпа, победоносно возвращавшаяся с поля битвы. И вся окрестность оглашалась звонкой песнью молодежи.

— Я принужден извиниться перед Херном, — великодушно говорил Арчер. — Это сильный человек.

Я всегда повторял, что Англии необходим сильный человек.

— Я видал людей сильных в боксе, — сказал Мэррель задумчиво. — Я думаю, что многим приходилось перед ними извиняться.

— Вы меня отлично понимаете, — ответил тот добродушно. — Я говорю о нем как о государственном человеке, который знает, чего хочет.

— Всякий сумасшедший, как мне кажется, знает, чего хочет, — ответил Мэррель. — Но от государственного человека требуется еще, чтобы он знал, чего хотят другие.

— Моя дордогая Обезьяна, что с вами? — спросил Арчер. — Вы почему-то сердитесь, когда другие радуются.

— Это не так плохо: радоваться тогда, когда другие сердятся, — ответил Мэррель. — Но если вы меня спросите, доволен ли я, то я вам скажу, что нет. Вы только что сказали, что Англии нужен сильный человек. А я сказал бы, что Англия менее всего нуждается в сильных людях. Я помню только одного сильного человека — это бедного старого Кромвеля. С ним кончилось довольно плачевно: его мертвого выкопали из земли, чтобы повесить, а потом целый месяц сходили с ума от радости, потому что трон снова перешел в руки человека, достаточно слабого по общему мнению. Мы вовсе не нуждаемся в широких размахах, будут ли они революционны или реакционны. Французы и итальянцы должны защищать свои границы, и все они поэтому чувствуют себя солдатами. Повиновение не унижает их. Сني признают право командира командо-

вать. Но мы недостаточно демократичны, чтобы иметь диктатора. Мы любим, чтобы нами управляли джентльмены. Но никто не согласится быть под началом у одного джентльмена. Это для нас нестерпимо.

— Я вас не совсем понимаю, — сказал Арчер с удовольствием. — Но я рад подтвердить, что Херн отлично понимает, чего хочет. И он заставит понять этих малых!

— Мой милый друг, — сказал Мэррель, — для мироздания требуются различные элементы. Я не возражаю против джентльменов. Это народ надежный. Они довольно успешно управляют островом уже три столетия. Но это им удавалось только потому, что никто не понимал их тайных намерений. Сегодня они ошибались, завтра исправляли ошибку, и никто не замечал этого. В том-то и дело, что они всегда обеспечивали себе возможность отступления. Там поправка, тут поправка — и таким образом кое-как штопались все изъяны. Для Херна уже не может быть отступления. Вам он представляется героем; а им — тираном. Ведь вся хитрость аристократов заключалась в том, чтобы даже тиран никогда не казался тираном. Пусть он ломает изгородь и захватывает землю, но он делает это при помощи парламентского акта, а не меча. И при встрече с ограбленным он должен с особенной вежливостью справляться у него о его ревматизме. Вот это-то умение во-время спросить о ревматизме и сохраняло так долго британскую конституцию. Но если он станет набивать синяки и делать шрамы, то это ему припомнится, был ли он прав или нет. А Херн

совсем не так прав в этом деле, как ему кажется. Он слишком наивен.

— Да, — заметил Арчер, — вы не слишком восторженный соратник.

— Что касается до этого, — мрачно сказал Мэррель, — то я вообще не знаю, соратник ли я вам. Во всяком случае, я не дитя. А Херн дитя.

— Вы опять за свое, — сказал Арчер с раздражением. — Однако пока он находился в ничтожестве, вы защищали его.

— А вы оскорбляли его, пока он был беззащитен, — ответил Мэррель. — Вы называли его сумасшедшим. Это, может быть, вполне верно. Я лично даже люблю сумасшедших. Но мне не нравится то, что вы так скоро перешли на его сторону, когда оказалось, что он опасный сумасшедший.

— Он слишком удачлив для сумасшедшего, — сказал тот.

— В этом-то и заключается опасность, — сказал Мэррель. — Именно это я и разумел, когда сравнивал его с ребенком. Ребенку не следует позволять играть с оружием. Для него все слишком просто. У него всегда будет удача, и он уже достиг удачи. Он устроит суд и положит конец мятежу. И никто не заметит, что история при этом изменит свое течение. В прежнее время история примиряла лидеров ваших партий. Статуи Питта и Фокса стоят бок-о-бок. А теперь кладется начало для двух историй. Одну будут рассказывать победители, другую побежденные. Приговор Херна прозвучит для господствующего класса как акт высшей справедливости. А защита Брэнтри останется в

памяти бунтовщиков как предсмертная речь мученика. Вы затеваете что-то совсем новое: меч разделяющий и щит о двух сторонах. Это не Англия. Это не англичане. Когда новый трибунал произнесет приговор над Брэнтри, то вместе с ним будет осуждено многое другое. Вы не понимаете этого, а я понимаю.

— Вы социалист? — смущенно спросил Арчер.

— Я последний либерал, — сказал Обезьяна. — Друзья по партии называли меня Великим Стариком.

Микель Херн ко всем своим обязанностям относился серьезно, но одну из них он выполнял с явной скорбью. Это скоро угадала со свойственной ей женской чуткостью Розамунда Северн. Такие женщины, как она, часто привязываются к больным и сумасшедшим. Херн работал дни и ночи, роясь в книгах и документах. Он осунулся и побледнел от бессонницы и переутомления. Его задача состояла в том, чтобы приспособить старые феодальные законы к современным индустриальным конфликтам. Но не одни старинные кодексы поглощали его время. Были и новые документы, как будто не имевшие никакого отношения к делу. Один из документов был подписан именем Дугласа Мэрреля. Розамунда не могла понять, при чем тут Обезьяна. Но она видела, что скорбь судьи зависит не от переутомления, а от чего-то другого.

— Я знаю, что вас мучает, Микель, — однажды сказала она. — Вам неприятна победа над тем, кого вы любите. Я знаю, что вы любите Брэнтри.

Он посмотрел на нее через плечо, и выражение его лица испугало ее.

— Неужели он вам так дорог? — проговорила она. Он отвернулся. Что-то резкое было в его движении.

— Но я вижу, что вы желаете быть справедливым, — сказала она.

— Да, — ответил он. — Я буду справедлив. — И он опустил голову на руки.

Она почувствовала уважение к его разбитой дружбе и молча вышла из библиотеки.

Через минуту он уже снова взялся за перо. Но перед этим поднял глаза к высокому потолку библиотеки и остановил их на той полке, куда когда-то забрался.

Джон Брэнтри и раньше не жаловал романтические маскарады, несмотря на пристрастие, которое питала к ним любимая им женщина. И, конечно, он совсем не склонен был наслаждаться пышным зрелищем пурпурных одеяний и символических топориков, когда предстал перед импровизированным судилищем. Он держался с полным презрением. Но презрение редко удается, когда исходит от побежденного. Когда его спросили, не желает ли он сделать какого-нибудь предварительного заявления перед заслушанием документов, то он повел себя так же дерзко, как король Карл I.

— Я не вижу тут никакого суда, — сказал он. — Я вижу только кучку людей, разрядившихся карточными королями. Не знаю, почему я должен признавать власть разбойников только потому, что это разбойники театральные. Буду ждать, чем окончится эта ко-

медия, и не скажу ничего. Что ж, тащите сюда орудия пытки, зажигайте костры, сожгите нас заживо. Вы, конечно, воскресили и пытки, вместе с другими прелестями средних веков. Как ученый, вы должны дать нам полную реставрацию средневековья.

— Вы правы, — ответил Херн вполне серьезно. — Мы хотим восстановить средневековую систему, если не во всех деталях, то в главном. Впрочем, в вашем преступлении нет ничего, что заслуживало бы сожжения. Поэтому вопрос об этом совсем и не возникал.

— Весьма вам обязан, — любезно проговорил Брэнтри. — Но надеюсь, это не лицепрятие?

— К порядку! — возмущенно крикнул Юлиан Арчер. — Как можно вести процесс, если суду не оказывается должного уважения?

— Но за ваши поступки, грозившие народным бедствием, — продолжал судья, — вы подлежите ответственности перед нашим судом — и только перед нашим. Это не я говорю. Это говорит закон.

Микель Херн был прерван на полуслове громом аплодисментов. Это было восторженное приветствие вождю. Среди наступившего затем благоговейного молчания раздался его ровный и монотонный голос.

— Наша задача состоит в восстановлении добрых старых обычаев, — сказал он. — И мы возобновляем старый закон в его общих принципах. В данном случае, для разрешения неурядицы, возникшей в угольной промышленности со всеми ее побочными отраслями, нам придется прибегнуть к тем общим принципам, которым подчинялось все средневековое произ-

водство. Эти принципы сильно отличаются от современных. Они основаны на строгом порядке и безусловном повиновении.

Шопот одобрения пронесся среди подданных сенешала. С другой стороны послышался короткий смех Брэнтри.

— Цеховая организация, — продолжал Херн — требовала от ученика и подмастерья безусловного повиновения мастеру. Мастером считался тот, кто умел делать образцовые вещи. Звание мастера присуждалось членами цеха после определенного испытания. Учеником был тот, кто обучался ремеслу, а подмастерьем тот, кто оканчивал обучение. Всякий, сработавший образцовую вещь, мог стать мастером. Такова, в общих чертах, старинная организация труда. Теперь перейдем к разбираемому делу. Здесь налицо три мастера, т. е. трое лиц, которым принадлежат орудия производства и капиталы, на которые ведется производство. Это, во-первых, сэр Ховэрд Прайс, прежде бывший мастером по производству мыла, а теперь являющийся мастером по производству красок. Во-вторых, сэр Хэберт Артур Северн, ныне барон Сивуд. И, в-третьих, Джон Хенри Хериот Имс, носящий имя графа Идена. Однако у меня нет сведений об их личной работе по ремеслу и о времени, когда они представили свои пробные работы на звание мастера. Я не буду говорить языком рабочего лидера, но, если он утверждает, что производство должно находиться под управлением тех, кто принимает в нем непосредственное участие, то я скажу без всякого колебания, что он этим самым утверждает средневековый идеал.

По лицу Мэрреля бродила лукавая улыбка. На остальных лицах написано было недоумение. Но наибольшее недоумение испытывал Брэнтри. В каком смысле он был провозглашен поклонником средневековья? Если это был комплимент, то он не знал, как его принять. Беспокойный шопот на противоположной стороне становился все громче. Юлиан Арчер что-то шептал с негодованием Мэррелю.

— Конечно, — продолжал Херн, — лорду Идену и лорду Сивуду представляется возможность выполнить, соответственно правилам цеха, пробную работу по своему ремеслу. Необходимо выяснить, желают ли они продолжать прежнее ремесло, о котором пока нет сведений, или предпочитают поступить в качестве учеников к какому-нибудь другому мастеру.

— Простите, — бесцеремонно прервал его мистер Хэнбери, неожиданно поднимаясь с места. — Мне желательно знать, шутка ли это или нет? Я только спрашиваю. Я большой любитель шуток.

Херн только взглянул на него, и тот сел обратно на место.

— Третий случай, — невозмутимо продолжал Херн, — касается джентльмена, некогда участвовавшего в производстве мыла. Для меня неясно, каким образом он переменял ремесло, тем более, что это было совсем нелегко при том порядке, который мы пытаемся восстановить. Однако относительно первого пункта решение неоспоримо. Суд признает положение Джона Брэнтри о том, что производство должно находиться исключительно в руках мастеров, вполне правильным и согласным с нашей традицией.

— Позвольте, — воскликнул Юлиан Арчер, — подобное решение. . .

— Решение постановлено, — твердо ответил судья.

— Но нельзя же. . . — растерянно начал Юлиан Арчер.

— К порядку! — насмешливо крикнул Брэнтри. — Как можно вести процесс, если суду не оказывается должного уважения?

Но никто не обратил внимания на слова Брэнтри. Все пристально смотрели на сидевшего на троне человека с суровым, бледным и точно окаменевшим лицом.

ГЛАВА XVII. ОТЪЕЗД ДОН-КИХОТА.

Среди всего переполоха оба аристократа сидели неподвижно, как мумии. Лорд Сивуд застыл с поднятой головой, из-под которой как будто было выдернуто тело, так что она точно осталась висеть в воздухе. . . Может быть, судья шутит? Но что за непристойные шутки. А если нет, тогда где же земля, воздух и небо? Но лорд Иден, как это ни странно, ухмылялся, как казалось, с полным удовлетворением. Он как будто предугадывал дальнейшее. Судья продолжал:

— Управление ремеслами и торговлей по праву находится в руках мастеров-ремесленников или мастеров-торговцев. Но старый порядок признает также право частной собственности. Если в данном случае абстрактное право управления принадлежит рабочим, то самый материал попрежнему принадлежит тем лицам, которых я назвал.

— Так-то лучше, — раздался чей-то облегченный вздох.

Голова старого Сивуда закивала утвердительно, как голова китайского болванчика. Но лорд Иден пребывал в неподвижности.

— Средневековая юриспруденция, — продолжал Херн, — гораздо тщательнее разработала вопрос о частной собственности, чем современные системы, в том числе и та система, которая называется социализмом. Закон жестоко карал присвоение чужой собственности путями, противными христианской морали, как-то: путем грабежа, лихоимства, ростовщичества и т. д. За подобные преступления виновным грозили позорный столб и виселица. Однако другие способы приобретения считались дозволенными. И, несомненно, личная собственность трех названных лиц простирается на все орудия производства данных предприятий. Должен указать, что именно орудия производства и составляют главную часть их богатства. Правда, двое из них являются еще титулованными земельными собственниками, но их поместья не приносят почти никакого дохода и частью заложены. Поэтому богатство их зиждется на успешных операциях Угольной и Красильной компаний, где им принадлежит большинство паев. Продукты их предприятий, как-то краски, карандаши и пастели, распространяются не только на внутреннем рынке страны, но и на иностранном рынке. Остается выяснить, каким коммерческим способом были достигнуты подобные преимущества.

С аудиторией происходила странная перемена. Слушатели, убаюканные знакомыми словами печатных реклам, мерно кивали головами, как бы в полусне. Но самое замечательное было то, что лорд Сивуд стал улыбаться, а Лорд Иден оставался невозмутимым.

— Случайно, благодаря подвигу одного из рыцарей нашего королевства, удалось открыть факты, разъяс-

няющие данный вопрос. Это история одного старого мастера, который собственными руками приготавливал краски собственного изобретения. Лучшие художники его времени признавали его изделие единственным в своем роде, а художники последующего поколения тщетно старались придумать что-нибудь взамен. Изделие это не продается Красильной компанией. Изобретатель не привлечен к участию в работе этой компании и даже не служит там. Что же случилось с его изделием? Что случилось с самим мастером?

«Из представленных мне любезным джентльменом сведений явствует следующее. Человек этот был доведен до нищенского состояния. Горе и отчаяние настолько подорвали его силы, что его признали сумасшедшим. И способы, какими это было достигнуто, относятся как раз к числу тех, о которых я только что говорил. Лишение его сырья путем скупки всех нужных ему материалов и искусственное понижение цен путем предварительного сговора против него — вот средства, которые были пущены в ход. Не буду перечислять подробностей. Скажу только одно: что за такие деяния наши предки ставили к столбу или вешали. Виновники этого преступления и есть упомянутые три пайщика компаний, три мастера торговли.

И он твердым голосом повторил полностью три имени. Однако, когда он произносил имя Сивуда, голос его слегка дрогнул. Он ни на кого не смотрел.

— Вследствие этого суд вторым пунктом признает, что частная собственность, положенная в основу предприятия, приобретена незаконным путем и не пользуется защитой закона, как это было бы в случае

законного приобретения. Таким образом постановляется: во-первых, что ремесло должно управляться его полноправными членами, а во-вторых, что иск, предъявленный собственниками, в данном случае неправилен. Мы вменяем в обязанность цеху. . .

Старый Сивуд вскочил как ужаленный. Подлинная гордость, скрывавшаяся под пустым тщеславием старого вельможи, вдруг вышла наружу. Он забыл даже об аристократическом достоинстве, не позволявшем обнаруживать эту гордость.

— Я воображал, — заговорил он торопливо и с пафосом, — что движение стремится восстановить уважение к аристократии. Я ни на минуту не мог допустить, чтобы какие-то лавочные правила могли применяться к аристократу!

— А, — сказал Херн безразличным голосом, — наконец, мы подходим к развязке.

Казалось, что он в первый раз заговорил обыкновенным человеческим голосом.

— Я только исполнитель велений закона, — сказал он. — Закон равен для всех: для простых и знатных. Но я умоляю вас: не ссылайтесь на ваш титул, не предъявляйте прав аристократа и пэра.

— Это почему? — крикнул неугомонный Арчер.

— Потому, — ответил Херн, и лицо его покрылось смертельной бледностью, — потому, что вы и тут будете обмануты в своих ожиданиях.

— Что за чорт! — потеряв терпение, закричал Арчер.

— Чорт меня возьми, если я что-нибудь понимаю! — откликнулся с глуповатым видом Хэнбери.

— Да, да, вы, конечно, не простые ремесленники, — сказал судья дрожащим голосом. — Вы не учились составлять краски, не пачкали ими своих пальцев. Вы подвергались более трудным испытаниям. Вы гордитесь своим оружием. Вы заслужили свои шпоры. Ваши гордые титулы унаследованы от отдаленного прошлого. Вы не забыли имен, которые вы носите.

— Конечно, мы еще не забыли своих имен, — брюзгливо сказал Иден.

— Как это ни странно, — сказал судья, — но вы-то забыли их.

Все были озадачены. Общее молчание как бы прорезывалось острыми, пристальными взглядами Арчера. Раздавшийся затем бесстрастный голос судьи заставил всех вздрогнуть.

— Применяв строгий исторический метод к вопросам геральдики, я пришел к неожиданным выводам. Я обнаружил, что только очень ограниченный круг фамилий обладает подлинно аристократической родословной с точки зрения феодальной геральдики. Но представители этих фамилий сейчас находятся в бедности и по своему социальному положению не могут быть отнесены даже к среднему классу. В трех графствах, порученных моему попечению, подлинными аристократами по происхождению оказались люди, казалось бы, не имеющие права претендовать на благородную кровь.

Он произнес это бесстрастным тоном, как если бы читал студентам лекцию о хеттитах.

— Богатства нынешних аристократов, — продолжал он отчетливо, — составились недавно и притом при помощи приемов сомнительных с точки зрения морали,

не говоря уже о рыцарстве: путем скупки выморочных или заложенных имений, при посредничестве спекулянтов и мелких адвокатов. Таким образом, ловкие люди присвоили себе титулы и имена древних фамилий. Так фамилия Иден происходит не от Имс, а от Ивенс. Имя Сивуда не Северн, а Смит. . .

Мэррель, который все время с состраданием следил за оратором, вдруг издал какое-то восклицание. Он что-то понял.

Кругом царил полный беспорядок. Все говорили зараз, но все голоса покрывал невозмутимый голос судьи.

— Только два человека могут претендовать на знатное происхождение. Это кучер омнибуса и один зеленщик в Милльдайке. Никто не имеет права на звание *Armiger generosus*, кроме Вильяма Понда и Джорджа Картера.

— Бог мой, старый Джордж! — крикнул Мэррель и, закинув голову, залился хохотом.

Смех заразителен. Напряжение разрядилось, и через минуту все уже хохотали. Даже Брэнтри, неожиданно вспомнив глупую улыбку старого Джорджа в «Зеленом Драконе», не мог удержаться от смеха.

Но сам судья был лишен юмора. Он не читал *Punch'a*.

— Я не понимаю, — сказал он, — что тут смешного. Насколько я знаю, этот человек еще ничем не запятнал своего щита. Он не разорял честных людей, не вступал в соглашение с мошенниками и спекулянтами. Он не присваивал себе земли участок за участком, как ябедник, не служил высокопоставленным фамилиям, как собака, и не пожирал погибающих семей, как

ястреб цыплят. А вы, пришедшие сюда подавлять бедных блеском ваших богатств и титулов? Кто вы такие? Вы сидите в чужом доме. Вы носите чужое имя. Чужой герб красуется на вашем щите и на ваших воротах. Вся ваша история — это история самозванства. И вы еще требуете, чтобы я воззвал к справедливости во имя ваших благородных предков!

Смех затихал, но шум усиливался. Характер этого шума был совершенно ясен. Это был крик возмущенной толпы. Арчер, Хэнбери и еще человек десять-двенадцать повскакали со своих мест. И все же над всеми голосами возвышался голос фанатика на кресле судьи.

— Итак, запишем третий пункт судебного решения, который служит ответом на третье требование. Трое лиц требовали для себя звания мастеров и повиновения со стороны рабочих. Их дело было заслушано. Они требовали звания мастеров, но они не мастера. Они требовали охраны их собственности, но они не собственники. Они ссылались на свою знатность, но они не принадлежат к знати по крови. Все три иска признаны неосновательными.

— Ну, — прокричал Арчер, — а как долго все здесь происходящее будет признаваться основательным?

Шум утих. Все смотрели друг на друга, ожидая, что произойдет дальше.

Лорд Иден медленно и лениво поднялся со своего места, заложив руки в карманы.

— Тут упоминалось о ком-то, кого схватили, как сумасшедшего, — сказал он. — Боюсь, что подобная тяжелая сцена произойдет и тут. Не пора ли кому-нибудь вмешаться?

— Надо послать за доктором, — кричал Арчер ди-
ким, торжествующим голосом.

— Вы сами указали на него Иден, — сказал Мэр-
рель, бросив гневный взгляд через плечо.

— Все мы ошибаемся, — сказал Иден. — Я никогда
не стану отрицать, что меня одурачил сумасшедший.
Но это совсем не подходящая сцена для дам.

— Да, — сказал Брэнтри, — дамам представляется
случай полюбоваться величественным финалом вашей
верности и ваших обетов.

— Если это конец вашей верности по отношению
ко мне, — спокойно сказал сенешал, — то это совсем
не конец моей верности по отношению к вам или, вер-
нее, к тому закону, глашатаем которого я являюсь. Для
меня ничего не стоит сойти с этого возвышения. Но
говорить правду, пока я сидел тут — было для меня все.
Ненавистна ли вам эта правда или нет — это меня инте-
ресует еще меньше.

— Вы всегда были актером, — свирепо крикнул
Юлиан Арчер.

Странная улыбка прошла по бледному лицу судьи.

— Нет, — сказал он, — вы ошибаетесь, я не всегда
был актером. Я был скромным, скучным человеком,
пока вы не захотели сделать из меня актера. И я увидел,
что пьеса, которую вы разыгрывали, гораздо реальнее
той жизни, которую вы ведете. Стихи, которые мы про-
износили, были гораздо правдивее вашей жизни. И как
они напоминают то, что с нами происходит сейчас!

Голос его не изменился, только речь стала плавнее,
как будто говорить стихами было для него естествен-
нее, чем говорить прозой.

Я презираю все короны мира
И властвовать над стадом не хочу.
Лишь злой король сидит на троне прочно,
Врачуя стыд привычкой. Добродетель
Для знати ненавистна в короле.
Его вассалы на него восстанут,
И рыцарей увидит он измену —
И прочь уйдет, как я от вас иду!

И он сошел с возвышения.

— Если я больше не властелин и не судья, — воскликнул он, — то я остаюсь рыцарем, хотя бы, как в пьесе, странствующим рыцарем. Но вы останетесь актерами навсегда. Плуты и бродяги, где вы украли ваши шпоры?

Невольная судорога омерзения передернула лицо старого Идена, и он сказал с отвращением:

— Надо кончить эту сцену.

Конец мог быть только один. Брэнтри ликовал. Рыцарская компания гудела. Только двое вняли словам сенешала. Оливия Эшли вышла вперед поступью принцессы и, бросив лучистый взгляд на рабочего вождя, остановилась у кресла судьи: она не смела взглянуть на бледное, каменное лицо женщины, которая была ее подругой. Через минуту Дуглас Мэррель поднялся со странной гримасой с места и стал по другую сторону судьи. Это было странной пародией на даму и эсквайра, державших щит и меч в день коронации государя.

Сенешал сделал последний ритуальный жест. По старинному обычаю, он разодрал на себе черное с пурпуром облачение и, скинув его, оказался в зеленом костюме, которого не снимал со дня спектакля.

— Я ухожу как изгнанник, — сказал он. — И так

как большая дорога есть место разбоя, я пойду на большую дорогу, и это будет сочтено величайшим преступлением.

Он повернулся спиной, и его дикий взгляд с минуту блуждал вокруг трона.

— Вы потеряли что-нибудь? — спросил Мэррель.

— Я все потерял, — ответил Херн.

Мэррель заглянул в его полные ужаса глаза. Он понял, чего искал Херн. Это было большое копье короля Ричарда. Взяв его, он направился к воротам парка.

Мэррель смотрел ему вслед. Потом, как бы под влиянием новой мысли, побежал за ним и окликнул его по имени. Человек в зеленом повернул к нему свое бледное, кроткое лицо.

— Можно мне с вами? — спросил Мэррель.

— Зачем вам итти со мной? — спросил Херн без грубости, но так, как если бы он обращался к чужому.

— Разве вы не знаете меня? — спросил Мэррель. — Не знаете моего имени? Неужели вы не знаете моего настоящего имени?

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Херн.

— Мое имя, — ответил тот, — Санчо Панса.

Через двадцать минут из владений лорда Сивуда выехали двое. Этот выезд был как бы рассчитан на то, чтобы показать связь смешного с фантастическим. Мистер Дуглас Мэррель остался верен своей способности с полнейшей серьезностью делать нелепости. Добившись звания оруженосца, он скрылся за ближайшим сараем, а через минуту появился на верхушке своего знаменитого кэба, погоняя убогую извозчицью лошаденку. С безупречной вежливостью вымуштрованного

слуги он поклонился своему новому господину, приглашая его сесть в кэб. И когда странствующий рыцарь в зеленом, взмахнув копьем, вскочил, вместо этого, верхом на извозчицью лошадь, то раздался взрыв оглушительного смеха. Те, кто умели видеть, увидели в этой сцене какое-то неуловимое, сияющее воспоминание, точно воскрешение мертвеца. Худое, костлявое лицо, остроконечная, как язык пламени, борода, впалые, безумные глаза — все было похоже до странности. Неподвижно восседавший на спине Россинанта, высокий, с разорванным рукавом человек поднимал бесполезное копье, смеяться над взмахами которого мы научились три столетия назад. За ним возвышался огромный уродливый кэб, с разинутой как бы от смеха пастью.

ГЛАВА XVIII.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН-КИХОТА.

День суда был полон неожиданностей. Но особенно неожиданным он оказался для того, кого этот суд оправдал. Джон Брэнтри готовился встретить на суде феодальную мстительность или рыцарское великодушие, но никак не ожидал, что его взгляды будут выставлены как образец средневековья. Это заставило его испытать некоторую неловкость.

Оглядывая толпу, он вдруг заметил Оливию Эшли. Глаза его зажглись, и он с кротким смехом направился к пустому трону, около которого она стояла. Положив ей руки на плечи, он сказал:

— В конце концов мы, кажется, помирились.

Она тихо улыбнулась и сказала:

— Как грустно, что вы не можете признать авторитет Херна, и что я должна радоваться его крушению, благодаря которому произошло. . . это примирение.

— Простите меня, но я испытываю от этого только радость, — ответил он. — Те, которые, подобно вам, действительно верили ему, должны теперь перейти на мою сторону.

— Это для меня не так трудно, — сказала она. —

мне было трудно быть против вас. Особенно, когда вы были побеждены.

— Ну теперь-то мы будем победителями, — ответил он. — Это придаст бодрости нашим. Я чувствую себя обновленным, помолодевшим. Но только это сделал не мистер Херн.

Она слегка смутилась и сказала:

— Я думаю, что организация будет продолжать свое существование.

— Ну ее к черту! — сказал Брэнтри. — Неужели вы думаете, что нас победила организация? Нас победил энтузиазм одного человека. Стоит ли считаться с теми, кто его бросил? Меня не запугают стрелы и топоры четырнадцатого столетия. И уж, конечно, я не побоюсь средневекового топорика, занесенного надо мной старым Сивудом. Несомненно, они будут еще разыгрывать спектакль. Мы еще будем иметь удовольствие услышать о сэре Юлиане Арчере как о блестящем лорде-судье и верховном сенешале. Но неужели вы думаете, что мы не прорвемся сквозь это, как через пестрый бумажный крут в цирке? Душа движения покинула его. Душа скачет за мило отсюда по дороге

— Да, я думаю, вы правы, — сказала Оливия после паузы. — И не только потому, что Микель Херн замечательный человек. Тут есть нечто поважнее. Они потеряли свою гордость, свою свежесть и невинность. Они слышали правду и знают, что это была правда. Но среди них есть один человек, которого я очень жалею.

Он посмотрел на нее вопросительно.

— Я говорю о Розамунде, — сказала она, понизив голос.

— Я не совсем понимаю, — сказал он.

— Конечно, не понимаете, — заговорила она пылко. — Нам тоже было тяжело. Но мы не испытали того, что она. Мы расстались потому, что каждый из нас был уверен в правоте своих убеждений. Но нам не пришлось лично нападать друг на друга. Вам не пришлось оскорблять моего отца, и мне не пришлось молча переносить эти оскорбления. Если бы со мной это случилось, не знаю, что бы я сделала. Должно быть, умерла бы. А каково ей?

— Все-таки я не совсем понимаю, о ком вы говорите, — сказал он. — Кто это она? Розамунда Северн?

— Конечно, Розамунда Северн! — воскликнула Оливия гневно. — Он не оставил ей даже ее имени. Что было бы со мной на ее месте, как вы думаете? Неужели вы не знаете, что Розамунда Северн и Микель Херн влюблены друг в друга?

— Я не знал этого, — сказал он. — Но если это так, то это ужасно.

— Я должна повидаться с ней, — сказала Оливия.

Она прошла через опустевший сад к дому. Вставала круглая луна. В воздухе сгущались вечерние тени. Около ворот она неожиданно столкнулась с самой Розамундой. Она не решилась посмотреть ей в лицо. Взяв ее за руку, она начала несвязно:

— Я не знаю, что тебе сказать. Мне так много нужно сказать тебе.

Ответа не последовало. Она продолжала:

— За что это тебе? Ты ведь никогда не делала ничего, кроме добра. Как можно было так говорить?

Розамунда ответила ей глухим, мертвым голосом:

— Он всегда говорит правду.

— Ты самая благородная женщина на свете, — сказала Оливия.

— И самая несчастная, — ответила та. — Никто в этом не виноват. Все это место точно проклято.

— Что делать, — продолжала Оливия, — современные люди имеют право быть современными. Им ничего не надо, кроме банков и маклеров. Твой отец и его друзья, может быть, правы по-своему. Я уверена, что они не так виноваты, как выходило по его словам. Это, конечно, ужасно, но, во всяком случае, он не должен был делать этого, не предупредив тебя.

Статуя заговорила снова. Казалось, что она была способна произносить только одни и те же каменные слова защиты.

— Он предупреждал. И это ужаснее всего.

— Позволь мне высказаться, — снова заговорила Оливия. — Я чувствую, что должна сказать то, что думаю. Если мы хотим вновь вырастить цветы рыцарства, то должны вернуться к самому началу, к самым корням его. И если мы полюбим идеал рыцарства, то зачем нам рыцарское происхождение?

Розамунда сделала легкое движение, как бы желая уйти. Оливия удержала ее за руку.

— Я не сумасшедшая, что так говорю тебе, когда ты и без того страдаешь, — сказала она с раскаянием. — Но я в самом деле хочу открыть тебе одну вещь, которая важнее всякой печали. Розамунда, на свете есть радость. Не веселье, а именно радость. Мы

иногда видим ее отраженной в зеркале, — а зеркала разбиваются.

— Я постараюсь отыскать эту радость, — тихо ответила Розамунда. — А теперь прости меня, — я пойду.

Оливия медленно вернулась к Джону Брэнтри, который ожидал ее. Они пошли рядом, но долго молчали. Наконец Оливия сказала:

— Сколько событий произошло... с тех пор, как я послала бедную Обезьяну за красной краской. Как я ненавидела тогда вас и ваш красный галстук. И как-то странно вышло, что это был один и тот же красный цвет. Мы тогда не понимали этого. И именно вы пятились назад от той краски, за которой я гонялась, как ребенок за тучкой на закате. А на самом деле именно вы стремились отомстить за друга моего отца.

— Во всяком случае, я попытался бы вернуть ему его права, — ответил Брэнтри.

— Ах, вы совсем помешались на ваших правах, — сказала она с нетерпеливым смехом. — Бедная Розамунда... Признайтесь, что вы ужасно много говорите о правах.

— Я надеюсь, что разговоры приведут к делу, — ответил неумолимый политик.

— А как вы думаете, — спросила она, — имеет ли кто право быть счастливым?

Он засмеялся, и они вышли на пыльную дорогу, ведущую к Милльдайку.

Может быть, когда-нибудь будет рассказана история о приключениях нового Дон-Кихота и нового Санчо Пансы, странствовавших по извилистым дорогам

Англии. Должно быть, это путешествие является новостью даже в анналах рыцарства. Какой-нибудь романтический хроникер мог бы написать целый отчет о разнообразных способах применения этого экипажа для защиты и утешения упнетенных. Он мог бы написать о том, как они возили бродяг и катали детей. О том, как они въехали в кофейню в Рэдинге и наскочили на палатку в Сэлсбери Плэйне. О том, как простодушные кальвинисты принимали кэб за передвижную кафедру, с нижним сидением для регента и верхним сидением для священника, в роли которого мистер Дуглас Мэррель проповедывал очень назидательно и елейно. Мистер Херн читал с верхушки кэба исторические лекции, а Мэррель сопровождал их комментариями.

Херн вел долгие беседы со своим приятелем. Он крепко отстаивал свои взгляды.

Однажды они сидели на траве у дороги.

— Утверждают, что я отстал от своего времени, — говорил Херн, — и живу в ту эпоху, о которой мечтал Дон-Кихот. Но они-то сами отстали на три столетия и живут в ту эпоху, когда Сервантес мечтал о Дон-Кихоте. Они застряли на эпохе Ренессанса, которая естественно представлялась Сервантесу возрождением. А я нахожу, что младенцу, которому триста лет от роду, пора снова возродиться.

— И он должен возродиться в виде средневекового странствующего рыцаря? — спросил Мэррель.

— Почему нес, если в человеке эпохи Ренессанса возродился древний грек? — ответил тот. — Сервантесу казалось, что воображение умирает и рассудок должен занять его место. А я говорю, что в наши дни

умирает рассудок, и что его старость совсем не так почтенна, как упадок древнего Возрождения. Мы должны возродить простоту древних битв. Нам нужен человек, который верил бы в войну с гигантами.

— И умел бы воевать с ветряными мельницами, — ответил Мэррель.

— А вам не приходило в голову, как было бы хорошо, если бы он в самом деле одолел ветряные мельницы? — спросил его друг. — Единственная ошибка заключалась в том, что дрались с мельницами, вместо того чтобы драться с мельниками. Мельник средних веков был представителем среднего класса. От него ведет начало буржуазия наших дней. Его мельницы были зародышем всех фабрик и заводов, которые испортили и унизили современную жизнь. Дон-Кихот выпустил на свободу колодников. В наши дни сидят в тюрьме главным образом нищие, а те, которые ограбили их, ходят на свободе.

— А вы не думаете, что современный порядок вещей слишком сложен, для того чтобы применять к нему такие простые методы? — спросил Мэррель.

— Именно он и нуждается в простых методах, — ответил Херн.

Он поднялся с травы и стал ходить взад и вперед с энергией своего прототипа.

— Как вы не понимаете? — восклицал он. — В этом весь смысл. Вся ваша механика так же бесчеловечна, как природа. Превратившись во вторую природу, она стала такой же равнодушной и жестокой, как природа. Ныне рыцарь снова блуждает среди лесов. Но эти леса состоят не из деревьев, а из фабричных труб.

Вещи загромождали нашу жизнь. Гигантские орудия производства поработили людей, которые их создали, и теперь никто не может предугадать, кого захватит размах их колес. Вы оправдали кошмар Дон-Кихота. Фабрики и заводы и есть настоящие гиганты.

— Какой же выход из этого положения? — спросил Мэррель.

— Вы сами нашли его, — ответил Херн. — Вы не стали рассуждать, когда увидели, что доктор безумнее своего пациента. Я только последовал вашему примеру. Вы не Санчо Панса. Вы тот — другой.

Он протянул руку со старомодным пафосом.

— То, что я говорил с возвышенья судьи, то же я повторю теперь на дороге. Вы единственный вновь рожденный. Вы возвратившийся рыцарь.

Дуглас Мэррель неожиданно смутился.

— Слишком большая честь для меня, — сказал он. — Правда, я сделал, что мог, для этого старого осла. Но мне понравилась эта девушка. Очень понравилась.

— Вы сказали ей об этом? — воскликнул Херн.

— Мне было неудобно, — ответил тот, — потому что она была мне в некотором смысле обязана.

— Мой дорогой Мэррель, — закричал Херн. — Это чистое дон-кихотство!

Мэррель вскочил на ноги и расхохотался.

— Это лучшая шутка за три столетия! — сказал он.

— Совсем нет, — ответил Херн задумчиво. — Я не шучу. Правда, по некоторым правилам вам нельзя предпринять новую попытку. Вам хочется побывать на Западе?

Мэррель, казалось, пришел в замешательство.

— Откровенно говоря, я избегал тех мест и даже самой темы. Я думал, что вы. . .

— Я вас понимаю, — перебил Херн. — Я тоже не мог даже смотреть в ту сторону. Мне хотелось повернуться спиной к западному ветру. И закат жжет меня, как раскаленное железо. Но человек с годами успокаивается, даже если не становится веселее. Войти в дом я не мог бы, но был бы рад услышать новости. . . обо всех.

— О, если мы туда отправимся, — сказал Мэррель, — я найду и все разузнаю.

— Пойдете в Сивудское аббатство? — спросил Херн почти застенчиво.

— Да, — коротко ответил Мэррель. — Я думаю, мы с вами в одинаковом положении. Но пойти в тот. . . другой дом мне было бы труднее.

Таким образом случилось, что вскоре они снова увидели то, чего не видели и боялись видеть так долго: широкие лужайки и крутые готические крыши Сивудского аббатства, озаренные вечерним солнцем.

Микель Херн остановился и посмотрел на своего друга. Мэррель без слов понял его, кивнул и быстро поднялся своей легкой походкой по крутой тропинке к главной аллее. Сад был в таком же виде, как и раньше, но только казался чище и как-то тише. Ворота, которые всегда были открыты, теперь были закрыты наглухо. Это испугало Обезьяну. Жуткое чувство усилилось, когда он подошел к воротам и в первый раз в жизни позвонил в большой медный колокол. Ему

казалось, что все это сон, от которого он скоро должен очнуться. Но то, что произошло в самом деле, оказалось страннее всех его предчувствий.

Через полчаса он вышел из больших ворот, которые заперлись за ним, и спокойно вернулся к своему другу. В самом его спокойствии Херн почуял что-то странное. Мэррель сел на траву и помолчал с минуту. Потом он сказал:

— В Сивудском аббатстве произошла необыкновенная перемена. Оно не сгорело до тла, потому что, как видите, стоит невредимо и даже, кажется, содержится лучше, чем раньше. Не поразила его и небесная молния. И все же страшная катастрофа обрушилась на аббатство.

— Что же такое? Что случилось?

— Оно превратилось в аббатство, — мрачно ответил Мэррель.

— Что это значит? — воскликнул Херн и наклонился вперед с жадным любопытством.

— Это значит то, что я говорю. Оно сделалось аббатством. Я только что разговаривал с аббатом. Он рассказал мне множество новостей, потому что, несмотря на свое монастырское уединение, он знает почти всех наших старых друзей.

— Так значит тут монастырь... А какие новости он вам сообщил?

— Все началось с того, что около года тому назад умер старый Сивуд, — сказал Мэррель своим меланхолическим голосом. — Все владения перешли его наследнице, которая, как говорят... того. Она сделалась католичкой и притом оригинального сорта. Все имуще-

ство она передала аббату и его веселой братии, а сама поступила нянькой в какое-то католическое учреждение в доках, где душат китайских девочек апостольскими правилами.

Бедный библиотекарь вскочил на ноги со всей энергией странствующего рыцаря. Но взгляд его был обращен не на башни Сивуда.

— Я все еще плохо понимаю, — сказал он. — Это так странно.

— Да, странно идти в китайский монастырь и спрашиваться у китайского душителя о Розамунде Северн, — согласился Мэррель. — Но должен сообщить вам, что, по словам аббата, она уже не называет себя Розамундой Северн. Вы найдете ее под именем мисс Смит.

При этих словах сумасшествие вновь обуяло сивудского библиотекаря. Перескочив через плетень, он побежал на восток, к сосновому лесу, который лежал на пути к китайскому монастырю и к мисс Смит.

Через три с лишним месяца сумасшедший закончил свое странствие. В один туманный вечер, когда все было застлано туманной дымкой, он завернул в узкую улицу. Перед домом висел бумажный цветной фонарь. Несколькими дальше горел другой фонарь, мало похожий на китайский. Подойдя ближе, он увидел, что на нем составлена из цветного стекла фигура святого Франциска с пылающим ангелом позади.

Рыжие волосы попрежнему украшали ее голову, подобно короне. Темное прямое платье закрывало ее от шеи до пят.

Со свойственной ему поспешностью он выразил простую мысль простыми словами:

— Вы няня, а не монахиня.

Она улыбнулась.

— Я всегда была уверена, что вы найдете меня, — сказала она, помолчав. — Не будем вспоминать старого. Мой отец был гораздо менее виноват, чем вы думали, и гораздо больше виноват, чем думала я. Но ни вы, ни я не можем судить его. Не он совершил то зло, от которого произошло столько бедствий.

— Я знаю, — ответил он. — Меня это мучило, пока я не понял, в чем смысл всего происшедшего. Во всем этом не было ничего благороднее вас и вашего поступка. Вы величайший характер в истории. Ученые могли бы назвать вас легендой.

— Да, — проговорила она. — Многое переменилось с тех пор, как мы расстались. Оливия Эшли вышла замуж за Джона Брэнтри. Они согласны между собой во всем. А тогда казалось, что все непримиримы между собой.

— Да, — ответил он, — все женятся. И я чувствовал себя совсем потерянным и одиноким последний **месяц**,

— Даже Обезьяна женился, как я слышала, — сказала она. — Как будто наступает конец света. А, может быть, это только начало.

— Он отправился в приморский город и женился на дочери мистера Хэндри, — сказал Микель Херн. — Мы расстались в Сивудском аббатстве. Он отправился на запад, а я на восток. Я пришел сюда только ради вас. Я был очень одинок.

— Вы говорите «был», — сказала она с улыбкой.

Они вдруг повернулись друг к другу, и руки их соединились в страстном молчании, как было когда-то в Сивудском аббатстве. Он с внезапной, как всегда, резкостью нарушил это молчание.

— Но ведь я еретик. . .

— Посмотрим, — ответила она с необыкновенной рассудительностью.

Херн вдруг вспомнил разговор, который когда-то был у него с Юлианом Арчером об альбигойской ереси и о том, что брак обозначал обращение в католичество. На время он погрузился в задумчивость. Затем на узкой улице с фонарем совершилось удивительное событие. Микель Херн захохотал в первый раз в своей жизни. В первый раз ему захотелось пошутить. Но никто, кроме него самого не понял его единственной шутки.

— Итак, значит: iit in matrimonium!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Предисловие к русскому изданию	3
Глава I. Отщепенец	9
» II. Опасный человек	19
» III. Библиотечная лестница	29
» IV. Первое испытание Джона Брэнтри	41
» V. Второе испытание Джона Брэнтри	57
» VI. Мэррелю дают поручение	70
» VII. «Трубадур-Блондель»	81
» VIII. Злоключение Обезьяны	96
» IX. Тайна кэба	114
» X. Между докторами разногласие	131
» XI. Сумасшествие библиотекаря	143
» XII. Государственный человек и беседа	155
» XIII. Предшественник и стрела	166
» XIV. Возвращение странствующего рыцаря	179
» XV. На распутье	198
» XVI. Суд вождя	210
» XVII. Отъезд Дон-Кихота	222
» XVIII. Возвращение Дон-Кихота	233

